

**БОРИС  
ЧЕТВЕРИКОВ**

**ВСЕГО  
БЫВАЛО  
НА  
ВЕКУ**



**БОРИС ЧЕТВЕРИКОВ**

**ВСЕГО БЫВАЛО  
НА ВЕКУ**

**ЛЕНИНГРАД**

**1991**

**84. Р 7**  
**Ч-52**

*Издание осуществлено за счет средств автора*

**Предисловие и подготовка текста**  
**Н. Четвериковой**

## ВЕЛИКИЙ ТРУЖЕНИК И ЖИЗНЕЛЮБ

Судьба подарила мне 25 лет жизни рядом с удивительным человеком, настолько ярким и самобытным, что очень трудно сделать его всеобъемлющий словесный портрет. Я и не берусь за это. Жанр книги говорит сам за себя, и личность автора достаточно полно вырисовывается из самих записок. Но читателю всегда интересно знать побольше каких-то бытовых подробностей, каких-то штрихов биографии и характера человека, книгу которого он читает. Вот я и постараюсь удовлетворить в какой-то степени это любопытство, а также рассказать об этой книге и обо всех воспоминаниях Бориса Дмитриевича в целом.

«Всего бывало на веку» — это часть большого многотомного труда, над которым Борис Дмитриевич работал последние 10—15 лет своей жизни, задумав написать не только о себе, но и о России, о людях своего поколения, о XX веке. Первоначально он даже общее название своим воспоминаниям дал — «Повесть о человеке XX века». Но потом отказался от него. В дневнике Бориса Дмитриевича я нашла такую запись за 20 мая 1977 года: «Усиленно работаю над первой книгой четырехкнижия «Стёжки-дорожки» (бывшее название — «Повесть о человеке XX века» — решительно снял)». Количество томов воспоминаний тоже в процессе работы менялось и в конце концов установилось на шести. А предваряет первый том развернутое вступление автора, где он помимо прочего кратко характеризует каждый том, излагает как бы план повествования. Думаю, что читателю небезынтересно это, поэтому хочу познакомиться с кратким содержанием каждого тома, широко цитируя при этом авторское вступление.

«Первая книга моей многотомной повести,— пишет Борис Дмитриевич (она называется «АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ» — Н. Ч.),— будет посвящена моим родителям и предкам, а значит,— в основном России прошлого века. Тут будут Оренбург и Пенза тех времен, Уральск и мало кому известная Буруновка. Тут я дам портрет писателя Михаила Васильевича Авдеева, брата моего деда, расскажу и о других моих родственниках. Без этого экскурса в прошлое как говорить о себе, о дальнейших событиях, о двадцатом веке? Это прошлое — мои корни, корни нашего сегодня. Здесь будет и мое детство, первые десять лет моей жизни,— следовательно, и начало нашего столетия... Мне кажется, что будет любопытно посмотреть, как в ту давнюю-предавнюю пору жили, любили, думали люди, какие мамонты



ходили по земле в те дни, когда переливалось всеми цветами радуги мое лучезарное детство, когда колосилась моя урожайная юность и даже в более ранний период, до моего появления на свет, когда мой прадед по отцу пензяк Василий Иванович Четвериков, посмеиваясь в бороду, посматривал, как мотает денежки его сын, а мой дед Никанор Васильевич, или когда мой предок по материнской линии казачий атаман Авдеев рассердился на царицу Екатерину и вышел из казачьего сословия... Я родился в Уральске в 1896 году. В 1898 году моего отца, учителя словесности и истории Дмитрия Никаноровича Четверикова, перевели в Чердынь, а потом как политически неблагонадежного гоняли из города в город, так что по воле департамента полиции и министерства народного просвещения после Чердыни мы проживали — и везде недолго — в Ирбите, в Троицке, в Уфе. В первой книге будет Чердынь... будет Ирбит... Девятьсот пятьдесят годы в провинции... Подпольные собрания учителей в нашем доме... Обыск... Арест отца...»

Да, отец Бориса Дмитриевича был прогрессивных убеждений, хранил у себя в доме запрещенную революционную литературу, на уроках вел крамольные речи, за что находился под постоянным надзором полиции и постоянно получал предписания — в 24 часа освободить от своего присутствия то или иное место жительства, так что пятеро детей Четвериковых родились и выросли в разных городах Приуралья. Будучи развездным инспектором училищ, Дмитрий Никанорович организовал в Чердыни вместе с другими энтузиастами краеведческий музей, который и доныне существует и хранит память о своем строителе.

Клавдия Витальевна, мать Бориса Дмитриевича, была необычайно яркой, незаурядной натурой. В семье Четвериковых долго хранилось (а потом затерялось) письмо К. С. Станиславского, в котором он приглашал Клавдию Витальевну к себе в труппу МХАТа, что свидетельствует о ее большом артистическом даровании. В музее Чердыни есть афиши спектаклей, где Клавдия Витальевна, да и Дмитрий Никанорович тоже, фигурируют в качестве ведущих исполнителей, а иногда и организаторов театральных представлений. И до конца жизни Клавдия Витальевна сохранила увлеченность театром. В Уфе, уже будучи учительницей русского языка и до этого, она вечно сколачивала самодеятельные театральные труппы, ставила «На дне» Горького, «Доходное место», «Бедность не порок», «На бойком месте» Островского и знаменитый Чеховский «Юбилей», где Мерчуткина была ее коронной ролью. Эти любительские спектакли нередко шли в помещении Дворянского собрания и были заметным явлением в городской жизни (недаром их заметил Станиславский!).

«Во второй книге,— говорит Борис Дмитриевич во вступлении,— я назову ее «СКИТАНИЯ» — я расскажу о Троицке и Уфе, Томске и Омске, Златоусте и селе Богдановка под Прилуками. Расскажу о гимназических годах, проведенных в Уфе, о моем загадочном друге тех лет Саше Федорове, о моей первой траги-

жомической женитьбе на Шуре Алатырцевой, о знакомстве с поэтом Бальмонтом, о своих первых творческих опытах в журнале «Мозаика», о губернском городе в дни февральской революции, о Великом Октябре, который застал меня в Томске... Главное место в этой книге займет моя «сибирская эпопея» — приезд в Томск для поступления в университет, неожиданное гастрольное турне по уральским и сибирским городам с футуристом Давидом Бурлюком, пребывание у Янчевецкого (впоследствии — писатель В. Ян), в его редакции на колесах, дружба со Всеволодом Ивановым, начавшаяся там, в этой редакции и продолжавшаяся многие годы... Там же встречи с Антоном Сорокиным, художником Евгением Спасским, автором «Ак-мечети» Николаем Ановым... Что еще? Стоит рассказать о сибирском просветителе Петре Ивановиче Макушине, с которым я познакомился, когда жил в Томске. О моей жизни в Златоусте и в селе Богородском. О моей работе на кавалерийских курсах в Уфе, помещавшихся в бывшем женском монастыре. О том, как я попал — в те-то смятенные годы! — на курорт Боровое и провел там несколько блаженно-спокойных дней, невероятных на фоне гибели тысяч и тысяч, на фоне поленниц трупов... Гражданская война. Множество правительств: Временное сибирское правительство, Уральское областное правительство, Самарский комуч, Уфимская директория... Разброд в Омске, когда Колчак покинул свою столицу и умчался в восточном направлении, а колчаковщина дожидала последние дни... Нескончаемая вереница эшелонов, тянувшихся сплошной лентой от предместий Омска и бог знает куда, вероятно до самого Иркутска, а может быть — и до Тихого океана... И наш поезд с типографским вагоном, набитым рабочими, медленно, метр за метромдвигающийся в этой веренице, пока его не загнали в тупик на станции Татарск... Снега, снега... Мертвые мертвецы и живые мертвецы, в бредовом чаду бродящие по платформам... И в этом кромешном аду — мы со Всеволодом Ивановым. Между жизнью и смертью. На краю пропасти... Нашу дружбу скрепляли пройденные испытания, когда мы жили в одном вагоне весь девятнадцатый год и часть двадцатого, а затем были неразлучны в городе Татарске, работая во внешкольном отделе Уотнаробраза и сообща создавая городской клуб и театр. В Сибири мы оба уже начинали писать, печатаясь под псевдонимами: Всеволод — Тараканова, я — Антона Горелова и Изюмова... Я расскажу о Всеволоде, о его жене Марусе Синицыной, о нашей жизни в Татарске... Расскажу о том, как из-за моей непутевой «гимназической» жены меня занесло на Украину... Расскажу обо всем, что было со мной и с моей страной в эти годы...»

Эти годы охватывают немного времени («Даже странно, что все это уместилось в какие-нибудь 5-6 лет», — говорит Борис Дмитриевич), но он выделил этот период в отдельную книгу как очень значительный и к тому же начальный в его творческой биографии: пьеса «Антанта», изданная под псевдонимом В. Изюмов,

получила в 1920 году первую премию на литературном конкурсе в Омске, и с этого года Борис Дмитриевич ведет отсчет своей писательской деятельности, которая по-настоящему развернулась уже в Ленинграде.

Третий том — «ЭТИ ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ» — посвящен полностью Питеру. «В 1922 году, — рассказывает Борис Дмитриевич, — я — по настойчивым приглашениям Всеволода — приехал в Петроград, и это — уже новая, совсем особая полоса в моей жизни, а значит — и новая книга... Всеволод раньше меня выбрался на профессиональную дорогу... И вот я, глубокий провинциал, в Питере, в литературной среде, в совершенно непривычной для меня обстановке. Всё поражало, всё перевертывало душу, и любовь с первого взгляда к этому прекрасному городу сладостно щемила грудь...»

В 1924 году вышла первая книга Бориса Дмитриевича — «Сытая земля», а затем одна за другой издаются «Атава», «Бурьян», «Малиновые дни», «Синяя говядина», «Любань», «Бунт инженера Каринского», «Заиграй овражки», «Солнечные рассказы», «Заграничный Степан», «Пережат», «Голубая река», «Деловые люди» и многие другие романы и сборники повестей и рассказов (я перечисляю только наиболее крупные из книг Четверикова 20—30-х годов). В этот период Борис Дмитриевич очень активно печатается и в журналах, создает литературную группу «Содружество», вообще находится в самой гуще писательской жизни, быстро завоевывая известность и авторитет.

Вот как говорит об этих годах сам Борис Дмитриевич:

«О литературной группе «Содружество», существовавшей в двадцатые годы, совсем нет материалов, хотя в группу эту входил ряд талантливых критиков и литературоведов и, казалось, было кому обстоятельно рассказать о содружниках и сделать разбор их творчества. Вся беда в том, что эти литературоведы и критики: Александр Мечиславович Свентицкий, Иннокентий Александрович Оксенов, Павел Николаевич Медведев, Павел Дмитриевич Жуков — очень рано умерли, погибли, не успев написать значительных монографий и исследований. В своей повести я расскажу и о них, первых содружниках, и о нашей литературной группе вообще: ведь я был ее основателем, и кому как не мне о ней рассказать... В двадцатые годы всё было удивительно, всё было своеобразно. Это была эра колоритных, впечатляющих, очень разных, очень пестрых, а иной раз прямо-таки фантастических людей. Из глубин взбаламученного человеческого моря волны революции выбрасывали и драгоценные жемчужины и поднятую со дна тину. Шла непримиримая борьба старого и нового. Шло размежевание. Литературные споры сплошь и рядом переступали рубеж чисто литературных споров и принимали политический характер... И во всей этой сумятице, в эти именно годы, я выпускал журнал «Литературный еженедельник», а затем — журнал «Зори»... Мой журнал «Зори» продержался, кажется, до 39-го номера. А образован он был на базе других изданий. В 1921 году

«Петроградская правда» выпускала воскресное приложение — «Литературную неделю». Редактором этого приложения до моего приезда в Петроград был Всеволод Иванов. Когда я приехал — прямо к нему, на Сампсоньевский, 6, — он передал редактирование «Литературной недели» мне, а сам вскоре переселился в Москву, оставив мне и свою квартиру, которой я, правда, не воспользовался. Так я вошел в литературный мир, сразу заняв в нем, надо сказать, прочное место. В скором времени вместо «Литературной недели» стал выходить «Литературный еженедельник», но уже как приложение к «Красной газете», а не к «Петроградской правде». Этот журнал я редактировал с первого номера, мне же пришла идея переименовать его потом в журнал «Зори». И литературная группа «Содружество» началась, собственно говоря, с обсуждений сообщая, что поместить в очередной номер «Еженедельника»... Собирались мы у меня дома, на Спаской, 5, по четвергам. Стали приходить на наши четверги Чапыгин и Сейфуллина. Потом пришли Шкапская, Катков, Козаков, Оксенов привел Всеволода Рождественского. О принятии Баршева и Борисоглебского были большие споры. Но Борисоглебского рекомендовал Шишков. Приняли. Медведева привел к нам Жуков. Пришлись ко двору и только что сошедшие со студенческой скамьи Николай Браун и Мария Комиссарова. А там прикатил в Петроград Лавренев и тоже стал ярым содружником... Пришел Василий Андреев... Это уже когда я переехал на другую квартиру, на Гороховую улицу. Так постепенно и обрисовалось лицо новой литературной группы. Обо всех этих людях, а также о многих других, с кем сталкивала меня судьба, я расскажу подробно и бесхитростно, так, как я их запомнил. О редакторах «Красной газеты» Моисее Марковиче Володарском и Николае Павловиче Авилове (партийная кличка — Глебов). Об издательском работнике Генрихе Карловиче Клаасе. Об Александре Константиновиче Воронском, которого я хорошо знал и искренно любил. О Василии Васильевиче Князеве и Василии Васильевиче Сиповском. О моей архангельско-вологодской истории и в связи с ней — о встрече с Горьким, об объяснении с его секретарем Крючковым, о знакомстве с Екатериной Павловной Пешковой... О сердечных беседах с Сергеем Мироновичем Кировым, у которого я не раз запросто бывал...»

Но, увы, многое из перечисленного осталось только в наметках и набросках, потому что Борис Дмитриевич вдруг оборвал хронологическое описание событий и переключился на тюремно-лагерные воспоминания, не закончив третью часть и перескочив через намеченную четвертую часть — «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА», от которой только и осталось то, что попутно рассказано в других частях, и то, что написано было во вступлении:

«В четвертой книге моей повести будет речь о войне и фашизме, о голоде и смерти, о героической борьбе нашего народа со свирепым, кровожадным врагом, о блокаде Ленинграда. Павловские казармы, где я и Митя Щеглов обитали в первые дни

войны, находясь в 80-м истребительном батальоне, и пели «Катюшу», маршируя вокруг Марсова Поля.. Охта, штаб прославленной 42-й армии, в рядах которой я служил.. Фронтвая радиогазета, которая выходила под моим руководством.. Литературная студия при Союзе писателей, в которой у меня занималось, пожалуй, не меньше ста человек.. Выступления на передовых позициях.. Поездки с военным грузом по льду Ладоги.. Дом на Моховой, 42, рядом с глазной больницей, где я жил в предвоенные годы и в начале войны,— в него было прямое попадание бомбы (я в это время вел концерт на Малой Охте в честь годовщины Октября, концерт был для работников второго эшелона 42-й армии и для курсантов, живших по соседству).. Писательский «недоскрёб» на канале Грибоедова, 9, куда мне пришлось перебраться, когда мою квартиру на Моховой разбомбило.. А Моршихин? А Вава Сошальская? А Честноков? А Велецкий? А мои встречи во время блокады с Сергеем Семеновым (он предлагал мне пристрелить и съесть лошадь)?.. Как копнешься в памяти, так всплывает множество занятных картин. И работа. На Моховой ли, на канале Грибоедова, в казарме ли на Марсовом Поле или на Охте — везде и всегда, в любых условиях и при любых обстоятельствах творческая работа, еще более яростная и неистовая, чем в мирные дни. Написана пьеса «Вороний камень», которая шла тогда в нескольких городах. Написаны поэмы «Ленинград», «Ночной смотр», «Наше поколение», «Иван да Марья». Написан целый ряд рассказов, радиоконпозиций, стихов.. Нет, я обязательно должен написать свои «Стежки-дорожки». Это будет рассказ о тех поколениях, которые варились в котле Первой мировой войны, которые оказались вслед за тем в самом пекле Революции и гражданской войны, а потом — Великой Отечественной. Мне же довелось еще попасть из огня да в полымя: после войны и блокады — в бериевские застенки и лагеря. Так что в четвертую книгу моей повести войдут 1941—1945 годы, проведенные мной безвыездно в Ленинграде, а в пятую — 1945—1956 годы — страшные для меня одиннадцать лет, прошедшие вне Ленинграда и вне жизни..»

Когда Борис Дмитриевич засел за описание этих страшных для него одиннадцати лет, он сказал мне: «Не могу умереть, не записав этот период. Если доживешь до времени, когда это можно будет напечатать, издай мои записи, если не доживешь — отдай в надежные молодые руки: пусть сохранят для истории, когда-нибудь должен же народ узнать всё».

Вот это и есть «ВСЕГО БЫВАЛО НА ВЕКУ». Таким образом, из шести задуманных книг написаны полностью только две первые и частично третья, да вот эта, пятая часть воспоминаний — «Всего бывало на веку», которая хотя и осталась незавершенной, но имеет более или менее законченный вид и читается вполне как самостоятельное произведение. Я дополнила рукопись материалами из дневников Бориса Дмитриевича 60—70-х годов, скомпоновав в единое целое все наиболее значительное,

связанное с этой темой. Мне кажется, что эти дополнения усиливают исповедальный характер книги, о которой сам Борис Дмитриевич писал: «Эта моя тетрадь — и воспоминания, и дневник, и завещание».

Надо сказать, что я мешала Борису Дмитриевичу в работе над «Всего бывало», отвлекала его всячески от лагерной темы: переживая все заново, он вставал из-за стола сам не свой, с измученным лицом и отрешенным видом, и я думала, что напрасно он, тяжело больной, мучает себя этими воспоминаниями. Последние 5—7 лет он вообще жил исключительно на своем энтузиазме, на необыкновенной силе воли. «Похоже, что у меня дело подходит к концу, — написал он в дневнике в марте 1977 года. — Теряю силы, десять минут похожу — и смертельно устал. Именно смертельно. Жаль. Много чего не успел». Он прожил после этого еще ровно 4 года. И работал — вот уж буквально — пока мог держать ручку. Два последних его стихотворения датированы январем 1981 года, а 17-го марта он умер.

В этих последних стихах есть строчки:

Я в книгах! Не канул я в Лету!  
И жизнь эта так хороша!  
К Писателю, к Другу, к Поэту  
Идите, на праздник спеша!

Я честно писал, без перчаток,  
Не памятник я, не музей.  
Как пальцев берут отпечаток,  
Так душу свою отпечатал  
Я в книгах своих — для друзей.

Но он «отпечатал» в своих произведениях не только свою душу, но и душу народа, страны, «отпечатал» время, эпоху, в которую жил. В воспоминаниях Бориса Дмитриевича очень интересны и значительны, на мой взгляд, так называемые «лирические отступления» — размышления по самым разнообразным поводам. Раньше они казались мне лишними, уводящими то и дело в сторону от основной темы. А теперь вижу, что в них, может быть, самое главное, в них бьется живая мысль писателя, его чуткое сердце. Поражаешься подчас его прозорливости, его провидению, глубине его чувств и оценок. Работая над творческим наследием Бориса Дмитриевича, я вспомнила, как он говорил: «Наши писатели во все времена были локаторами, улавливающими большие места общественной жизни, литература всегда была в набаб в случае опасности, неблагополучия в той или иной области, привлекала внимание к той проблеме, которую чутко улавливали писатели. А сейчас нам не дают выполнять эту роль, зажимают рот, требуют молчать о наблевшем и дудеть в одну дуду. Это же во вред самому государству! Как наши дуботёлы не понимают, что писатель должен быть свободен от их указаний, приказов и запретов!»

Я постоянно наблюдала, как Борис Дмитриевич страдал от невозможности писать как хочется и о чем хочется. Читая его прозу 20-х годов, невольно сравниваешь те книги с произведениями 60—70-х годов: с монументальными романами «Котовский», «Утро», «Навстречу солнцу», «Во славу жизни», повестью «Совет да любовь», рассказами «Братья», «Ладанка» — и думаешь, что существует в литературе как будто два Четверикова: довоенный, «доарестный» и послереабилитационный, — настолько они разные. Ранние произведения Бориса Дмитриевича словно пронизаны солнечным светом, наполнены молодой энергией, поражают раскованностью, свободой мысли, смелостью суждений, какой-то особенной свежестью и многоцветьем слова. (Кстати: почти весь первый период, до 1939 года, Борис Дмитриевич издавал книги под псевдонимом ДМИТРИЙ Четвериков. Он объяснял это тем, что, когда пришел в литературу, там была сплошная «Бориссиада»: Борис Пильняк, Борис Пастернак, Борис Зайцев, Борис Корнилов... — он и взял для творчества имя отца.) У позднего Четверикова немало своих достоинств: масштабнее зазвучала тема родины, России, усилился интерес к ярким историческим личностям, возросло стремление запечатлеть красоту человеческих отношений, благородные движения души. Но у этого второго Четверикова совсем другой подход к теме, другое восприятие мира, совсем иной стиль, иная манера письма. Вот что значит быть вырванным из жизни на целое десятилетие и вернуться словно в другой мир, в другую эпоху, в другую страну. В дневниках и воспоминаниях Бориса Дмитриевича есть рассуждения о том, насколько отличались 20-е годы от той атмосферы, в какую он попал, вернувшись в 1956 году в Ленинград.

Войдя в жизнь Бориса Дмитриевича именно в это время, я, естественно, смотрела на него через призму пережитой им трагедии. Совершенно разные вещи — ощущения безвинно пострадавшего человека и виновного. Когда человек ни за что ни про что попадает за решетку (да еще не у врагов, а у своих!) — тут можно не то что за одиннадцать лет, а за одиннадцать дней сойти с ума или умереть. И в этой связи особенно поражает, что Борис Дмитриевич не только вынес все злоключения, выпавшие на его долю, не только выжил, на шестом-то десятке лет попав в такой переплет, но и сохранил душу, не озлобился, не ожесточился, остался доброжелательным, общительным, остроумным. И еще: не потерял интереса к жизни, оптимизма.

Сам Борис Дмитриевич говорил, что в трудных ситуациях ему всегда помогали запасные профессии и чувство юмора. Это, конечно, так.

Запасных профессий у него было много, он был на редкость щедро одарен природой. Начать с того, что это был не только писатель (причем и прозаик, и поэт, и драматург), но и незаурядный художник, и музыкант. Кроме того, он унаследовал от матери актерские способности, а от отца — любовь к истории и склонность к садоводству и огородничеству (Дмитрий Никано-



рович имел под Уфой «хутор» — по-современному говоря, дачу — и приучал своих детей к земледельческим работам). Но и этого мало. Борис Дмитриевич неплохо знал и любил медицину, был хорошим диагностом и практиком (недаром он в Томске учился на медицинском факультете университета), а также хорошо малярил, интересовался переплетным, библиотечным делом, и можно еще перечислить много его пристрастий и умений.

В юношеские годы Борис Дмитриевич уже активно печатался в гимназическом журнале «Мозаика» и в уфимских газетах. Тогда же проклюнулись в нем и музыкальные способности, и живописный талант. Подрабатывая репетиторством, Борис Дмитриевич, будучи гимназистом, взял напрокат пианино, купил нот, холста, красок и всерьез занялся музыкой, сам оплачивая фортепьянные уроки, и живописью, посещая в Уфе нестеровскую студию. Причем интересно, что учителя рисования советовали ему посвятить себя живописи, уверяя, что он будет хорошим художником, а специалисты в области музыки прочили ему карьеру музыканта и даже композитора. Но Борис Дмитриевич уже тогда твердо отвечал всем, что он решил стать писателем.

Однако ни живописи, ни музыки он никогда не бросал. Вся наша квартира увешена его картинами (он больше всего писал маслом и, в основном, натюрморты и пейзажи). А сколько раздраено, сколько утеряно за ненастные годы. Проводя все ночи за письменным столом, Борис Дмитриевич отдышал за мольбертом или за пианино, причем любил импровизировать, сочиняя целые композиции, и я жалею, что при его жизни не освоила магнитофон и не записала его великолепную игру — не только на пианино, но и на гитаре, на мандолине, балалайке, гармонии. Жалею и о том, что его импровизации не положены на ноты, а картины не репродуцированы и мало известны. Иногда Борис Дмитриевич садился за пианино и «изображал» какое-нибудь домашнее происшествие, радостное или грустное: например, заключение договора на издание книги или пропажу моего кошелька на рынке. Иногда так разрисовывал какую-нибудь банку из-под кетчупа, что она выглядела настоящей вазой.

В нашей жизни было много шуток, смеха. Но Борис Дмитриевич никогда не острил специально, не повторял чужого; не задавался целью рассмешить. Драгоценное чувство юмора было даровано ему свыше и давало знать себя постоянно. Можно сказать, что шутить было для него так же естественно и необходимо, как дышать. Какое-то представление об этом могут дать его экспромты, пародии, эпиграммы, многочисленные поздравления к разным семейным датам, а также домашние записки — в стихах и прозе, которые он писал мне почти ежедневно, уходя гулять или ложась спать после ночной работы. Я все их собрала в три толстые папки и бережно храню.

Вот — для примера — две записки:

«Я не знаю, Наташа, ты в книге расходов записываешь только цифры? Или регистрируешь также имена? На всякий слу-

чай сообщаю, что бутылку сливок, стоявшую в холодильнике, МИТЬКОЙ ЗВАЛИ».

«Наташенька! Я выгнал себя на улицу погулять. Мне было оказано мною вооруженное сопротивление (тяжелая артиллерия моей лени, гаубицы моей неповоротливости, пулеметы моих уловок, самообмана и псевдоубедительных доводов). Сломив это мощное сопротивление, я оттеснил себя в район прихожей, а затем решительной атакой вынудил себя покинуть границу нашей квартиры...»

А вот один из экспромтов:

Я помню чудное мгновенье,  
Как без руля и без ветрил  
В тазу вишневое варенье  
В тиши ночной один варил.  
Ему уплыть — одно мгновенье.  
Я быстро пенки снял с него.  
Без божества, без вдохновенья  
Не сварить сроду ничего.

Когда я уезжала по делам Бориса Дмитриевича в Москву, он потихоньку от меня рассовывал десяток записок во все мои карманы, в сумочку, в чемодан. В них были наказы: не забывать поесть, пользоваться такси для экономии сил и пр. А по приезде меня встречал в прихожей большой красочный плакат: «Да здравствует Наташа! Мужики приветствуют возвращение хозяйки!» А мужики — это Борис Дмитриевич и наш кот Мурзик, про которого Борис Дмитриевич говорил, что это его сокращенное имя, а полностью его зовут Бен-Али-оглы-Мурза-паша-первый.

Когда мы собирали гостей — наш «кворум», друзья иной раз покатывались от смеха во время рассказов Бориса Дмитриевича. Даже о лагере он умел говорить не страшно, выбирая наиболее «веселые» истории и случаи. В данной книге Борис Дмитриевич цитирует начало своего шуточного экспромта, по первой строчке которого назвал эту часть своих воспоминаний. А я хочу привести его полностью, — оно написано во время приступа радикулита и очень характерно для Бориса Дмитриевича:

Всего бывало на веку.  
Что проще — сесть на всю катушку  
Ни за понюшку табаку  
И вообще ни за понюшку.  
А отсидевши десять лет,  
Срок отсидевши, — вероятно,  
Невольно скажешь: «Нет и нет!  
Сидеть ужасно неприятно!»  
Но вот беда другая есть

И называется — люмбаго,  
Когда, пожалуй, рад бы СЕСТЬ,  
Да недоступно это благо.  
Тогда возропщешь ты опять  
И скажешь: «Что это такое?  
Ни встать ни сесть, ни сесть ни встать,  
Ни посидеть хоть час в покое!»  
Всё относительно весьма.  
Не знаю, как сочтут другие,  
А я считаю: дрянь — тюрьма,  
Но дрянь и люмбо-ишалгия...

Как видите, даже такую страшную тему он мог обыграть весело. А рассказывая некоторые лагерные истории, от которых у слушателей волосы на голове шевелились (это сейчас мы попривыкли к таким сюжетам), он обычно говорил: «Я стараюсь только юмористические эпизоды вспоминать, нечто вроде лагерного Декамерона». (В этой книге читатель найдет эпизоды, которые имел в виду Борис Дмитриевич: Коломбина, Лида Конь-Голова и другие лагерные женщины). Последней его шуткой — примерно за неделю до смерти — было (в ответ на мои слова, что сейчас я принесу завтрак и посажу его поесть): «А по какой статье ты меня посадишь?» Вот вам пример — насколько сидело в нем все пережитое! Шутки шутками, а до последнего своего часа он был под впечатлением тех лет. Недаром писал в дневнике еще в 1959 году: «Три года прошло, а воспоминания об одиннадцати годах заключения не оставляют меня! Постоянно всплывает в памяти что-нибудь из этого времени. Надо записать, что помню, чтобы отделаться от неотвязных дум». Но он не отделался от них и на пороге смерти.

Борис Дмитриевич часто говорил: «Да неизвестно, где в те времена было почетнее быть — на свободе или под арестом. Я находился там в хорошей компании, уверяю вас. И мне пошли на пользу эти десять лет: я там законсервировался, и теперь мне сам черт не брат!» Да, испытания не сломили его ни физически, ни духовно. Правда, может быть, не будь тюрем и лагерей (а перед этим войны и блокады!), Борис Дмитриевич оправдал бы свое шутовское пророчество из стихотворения «Сестре»:

Наш род был долговечный, прочный:  
Сто сорок прадед жил почти!  
Куда нам — хилым, худосочным...  
С нас хватит по ста двадцати!

Действительно, один из предков Бориса Дмитриевича был долгожителем, и у Бориса Дмитриевича организм был тоже могучий, что и помогло ему выжить в эти страшные годы. Но здоровье, конечно, было подорвано. Еще удивляться приходится, что он дотянул почти до 85-ти и сохранил дьявольскую работоспособ-

ность, создал столько книг за 1956—1981 годы. Меня всегда восхищали его трудолюбие, его самодисциплина, его умение работать при любых обстоятельствах, в любом настроении, при любом самочувствии, систематически, ритмично, планомерно. Сама я совсем другого склада: в работе никогда не подведу, но у меня вечные авралы, могу неделю-две не прикасаться к машинке, а потом за день наверстать. Я завидовала системе Бориса Дмитриевича, его организованности, но, увы, не переняла этого. Железный был человек! Бывало, придем из театра, или от нас уйдут гости — все равно: вымоем-уберем посуду (Борис Дмитриевич всегда делал это вместе со мной), поставим все по местам — и уже Борис Дмитриевич за письменным столом. Он любил работать по ночам (я тоже за годы с ним стала самой настоящей «совой»), и ни одна ночь у него не пропадала для работы. Он всегда говорил: «Не напишу, так продумаю что-то, важно посидеть сосредоточенно над листом бумаги. Если даже не работается, все равно есть польза».

Я любила наблюдать, как он работает, просто смотреть на него исподтишка, когда он пишет. Я изучила приемы его работы. Не сразу их поняла. Вначале пугалась: уже вот-вот надо сдавать рукопись, а он вдруг перестал ею заниматься! Это было в Карташевке, в первый год нашей совместной жизни. При аресте Бориса Дмитриевича чудом сохранились черновики начатого им до войны романа о Котовском (эти листы не вместились в чемодан, их рассыпали по полу и не стали собирать), и, естественно, возвратившись к жизни, Борис Дмитриевич прежде всего ухватился за них. Договор был с «Советским писателем», жили мы в загородном доме Литфонда, и Борис Дмитриевич яростно, со страстью писал этот роман. Я даже боялась, что книга эта выйдет посмертно, — так он зарабатывался. Бывало, оторвется утром от стола, ляжет спать, а через некоторое время вскакивает со словами: «Подожди печатать, я тут придумал другой поворот». — «Когда же ты придумал, ты же спал?» — «Не знаю когда. Наверное, во сне». Но, закончив вчерне все, Борис Дмитриевич вдруг поехал в Кишинев, на родину Котовского, а вернувшись, заявил, что будет писать все заново. Вот тут-то и было это мое переживание: время идет, а он ходит целые дни вокруг дома и совсем ничего не пишет... Но, оказывается, он и в это время работал. Мысленно он все за это время сочинил и пересочинил, а когда засел наконец опять за стол, то только листы летели, так быстро он писал, я едва успевала за ним печатать. И рукопись была сдана в срок, зря я волновалась.

Потом я убедилась, что Борис Дмитриевич вообще сначала мысленно пишет свои произведения, набрасывая только план, фиксируя фамилии действующих лиц и их, так сказать, биографии: в каком году, вернее, на каком году жизни с героем что происходит. И опять я поражалась. Писал Борис Дмитриевич не по порядку, не с начала, а по настроению — иногда с середины или даже с конца, то есть писал ту сцену, которая была лучше отра-

ботана в уме, а когда складывали все главы уже в должной последовательности,— все сходилось, все было на своих местах.

...Интересно мы жили. Вечно в работе по горло, вечно в каких-то замыслах, обсуждениях, даже спорах, но интересно и весело, как-то согласованно и во взаимопонимании, несмотря на разницу в возрасте — шутка сказать! — в 27 лет.

Разумеется, всякое было за четверть века в нашей жизни. В издательских делах сплошь и рядом бывали неприятности, ни одна книга не проходила легко, без боев с редакторами, без нервотрепок и переживаний. И между нами не всегда было так уж идиллически гладко. Бывали моменты, когда он меня обижал, чаще всего от вспыльчивости. Характер у него был нелегкий, наговорит, бывало, такого, что и сам после не рад. А я объясняла это теми же одинадцатью роковыми годами, думая при этом, что, случись мне пережить подобное, я бы и вовсе, наверное, не владела собой. Случалось, что и я его огорчала,— упрямство ли тому виной, или порывистость моей натуры, а может быть, молодость («молодость», конечно, относительная, но, как ни говорите, я ему в дочери годилась, и это наверное иногда сказывалось, хотя внешне было малозаметно: я всегда выглядела старше своих лет). Разные складывались обстоятельства. В чем-то мы расходились. В чем-то я хотела быть самостоятельной, не растворяться в нем, иметь свое «я». Но все это не главное в нашей жизни. Главное — дух семьи, в которой царили любовь, уважение, даже, я бы сказала,— преклонение, причем обоюдное, это без преувеличения.

В доме у нас постоянно был народ, причем меньше всего писатели, больше почему-то было друзей среди врачей, научных работников, ученых. Часто образовывалась дружба с читателями, присылавшими письма Борису Дмитриевичу. С иногородними мы многие годы переписывались, а местных Борис Дмитриевич вводил порой в свой круг. Борис Дмитриевич был, по его выражению, «ловец человеков». Свои книги он дарил направо и налево, покупая их по 200—300 штук и приглашая в дом то шофера такси, то работников нашей почты, то продавщиц открыточного магазина, в котором я как собирательница открыток часто бывала. Писателей же среди друзей почти не было. Почему? Над этим я задумалась, пожалуй, только сейчас.

По рассказам некоторых из бывших репрессированных знаю, что кому-то подарили коллеги пальто, кому-то собрали энную сумму денег. Ничего подобного не произошло с Борисом Дмитриевичем. А помощь в первое время была бы нелишней: ведь у Бориса Дмитриевича не было ни кола ни двора, мы начинали жизнь с табуреток и раскладушек и радовались тому, что в Карташевке дом как-никак меблирован, а потом, обзаводясь самым необходимым, влезали в долги. Впрочем, долги у нас были в течение всей жизни, хотя книги и выходили, иногда даже по нескольку в год. Но слишком мы оба были нищи, слишком много надо было

покупать (ведь все до гвоздя приобреталось заново), слишком жалели мы друг друга и старались баловать: Борис Дмитриевич считал, что я хлебнула до него много горя, и хотел возместить мне прежние нехватки, а уж я вообще целью жизни поставила вернуть ему утраченное и воздать по заслугам. Борис Дмитриевич даже сердился на меня, видя, как я покупаю ему десятую или двадцатую рубашку: «Еще купишь — выброшу! Ты и тут действуешь по-коллекционерски: вот у тебя еще такого цвета нет, вот еще этого фасона недостает...» Но это уже когда мы «разбогатели», в 60-е годы. Тогда и пианино купили, и библиотеку какую-никакую собрали, и книги Бориса Дмитриевича 20-х годов (а их было 30) почти все разыскали и приобрели. А ведь они пропали не только лично у него, но и исчезли из всех библиотек, их уничтожали на глазах библиотекарей, нам рассказывали об этом, книги «врагов народа» уцелели только в спецхранах Ленинской библиотеки в Москве и Публичной библиотеки в Ленинграде.

Получили мы в конце концов квартиру, и дом наш стал полная чаша, и жили мы, хотя то густо, то пусто, но хорошо, есть что вспомнить. Борис Дмитриевич был по-купечески щедр, ничуть бы не удивилась, если бы он, как Паратов, бросил в грязь свою шубу, чтобы мне было легче пройти. Он не курил и совершенно не пил, детей у нас не было, копить деньги мы не умели — можно было позволить себе и потранжирить, когда была возможность. Мы не кутили, но, живя в Комарово, в Доме творчества, покупали для птиц сало и для бездомных кошек рыбу, брали путевки многим приезжавшим к нам друзьям и жили там вместе с ними. Дома у нас всегда был «подарочный фонд», куда складывались специально для подарков покупаемые интересные мелочишки (а иногда и не мелочишки). Делать подарки мы оба страсть как любили. И угощать. У Бориса Дмитриевича вечно были полны карманы конфет, которыми он угощал незнакомых ребятешек на улице, почтальонов, соседей, а в его письменном столе один ящик (верхний правый) так и назывался — «сладкий», и Борис Дмитриевич требовал его постоянно пополнять, меньше всего поеда запасы сам, а горстями раздавая содержимое.

Это был стиль жизни Бориса Дмитриевича, его манера поведения. Приехав из Карловых Вар (единственная наша поездка за границу), мы организовали дома лотерею и все привезенные из Чехословакии сувениры разыграли среди гостей. Это доставляло нам радость, и я ничуть не горюю, что во вдовстве оказалась с пустой сберкнижкой, хотя Борис Дмитриевич очень терзался, что оставляет меня необеспеченной. (Знал бы он, что мне положат пенсию «за потерю кормильца» — свой стаж я не выработала, помогая все это время ему, — в 42 рубля 36 копеек!)

Почему же у Бориса Дмитриевича не было друзей среди писателей? (Знакомых-то было много, я имею в виду истинных друзей.) Не знаю. Ведь начинал он с Фединым и Зошенко, со Всеволодом Ивановым и Всеволодом Рождественским, с Лавреневым и Брауном, со многими по-настоящему дружил в 20-е годы, даже

в годы войны у него ночи напролет просиживал приезжавший из Москвы Федин... Но за одиннадцать лет он от прежних друзей оторвался, а новых не нашёл. Может, потому что был самолюбив и горд, не хотел никому кланяться, навязывать свою дружбу? Кое-кто умер за это время. А кое-кто просто забыл, отвык от него. Помню, как, разговаривая по телефону, побелел Борис Дмитриевич, когда Федин «из-за занятости» отказался написать страничку предисловия к первому «Избранному» Бориса Дмитриевича («Повести и рассказы», Х. Л., 1964). Это была кажется, одна-единственная его просьба к старым друзьям, которые уже, оказывается, друзьями-то не были. Что ж, сытый голодного не разумеет.

Ничего. Обошлись без помощи. И даже помогали очень многим сами. Но факт примечательный. И как ни верти, а это тоже — следствие страшных одиннадцати лет: вырван был человек из своей среды, из своего окружения, оторван от своей работы, от дома, лишен всего, а у других жизнь шла своим чередом, образовывались новые связи и привязанности, живуч был и страх, мешавший общению с отсидевшим (кто-то — не помню кто — шепотом признался Борису Дмитриевичу, встретив его в 1956 году на улице, что уничтожил все его фотографии и письма, узнав об аресте). Словом, Борис Дмитриевич сам, без всяких протекций и без всякой помощи, добился восстановления своего писательского имени, появления своих книг на библиотечных и магазинных полках. А протекции он не признавал и в молодости. Помню, как он восторгался последней фразой в автобиографии Соколова-Микитова и говорил, что мог бы тоже самое сказать о себе: «В противоположность многим моим сверстникам-писателям, в писательских моих успехах и вкусах ничем не обязан Горькому» (сборник «Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков», 1928).

Борис Дмитриевич любил повторять, что лучше в дворники пойдет, лучше картинками своими будет торговать (как в лагере), чем издаваться «по благу» или — тем паче — пролезать в печать какими-то нечестными путями. Перед властями он никогда не заискивал и никому не угождал. Я как-то, перечитывая произведения Бориса Дмитриевича при подготовке их к переизданию, подумала: «А ведь, кажется, ни в одном из них нет и славословия Сталину — даже в те годы, когда ослеплены сталинским величием были все?!» Я стала рыться в книгах Бориса Дмитриевича 20-х годов уже специально с этим прицелом — проверить свое предположение. И да, действительно не нашла не только славословия, но даже упоминания Сталина. Поразительная вещь! Единственное исключение — главка в романе «Голубая река» (1933 год), в которой — не восхваляется, нет, — просто фигурирует фамилия Сталина: рабочая бригада читает вслух его речь на совещании хозяйственников 23 июня 1931 года. При переиздании «Голубой реки» Борис Дмитриевич вычеркнул эту сцену. А я задумалась: может быть, не случайно, что после «Голубой реки» он больше в те годы



ничего, кроме романа «Деловые люди» (об Америке, об Эдисоне), и не написал? Может быть, кривить душой и писать о том, что ему претило, не хотел, а писать, о чем хотел и как хотел, не мог?

Чем больше времени проходит после кончины Бориса Дмитриевича, тем больше я понимаю, что потеряла я и что потеряли все мы с его уходом, как теряют всегда с утратой не просто человека, а Личности. Из моей жизни ушло что-то прочное, надежное, цельное, бесконечно любимое и бесконечно любящее. Из литературы ушел талантливый, самородок, борец и мыслитель, человек твердых, несворотимых убеждений и принципов. Сейчас, в конце 80-х годов, особенно сознаешь, какая сила писателя — его книги. Не ордена, не титулы, не посты и чины, а книги, наследие, которое от человека осталось. Единственная награда Бориса Дмитриевича, именно офицерский кортик, был ему вручен в 1969 году в связи с 50-летием Воениздата, и он им очень дорожил. Внешне Борис Дмитриевич как будто спокойно относился к тому, что «не входит в обойму», как он говорил, что его не упоминают в прессе, на радио и телевидении (изредка, в основном, по поводу очередной юбилейной даты, небольшая заметка в газете, и все). Он даже шутил, что, когда все обвешаны орденами и медалями, приличнее, пожалуй, быть ненагражденным. Но внутренне он, конечно, страдал. Страдал от заговора молчания вокруг его книг: как будто их нет и не бывало! Страдал от того, что не мог пробиться в «Литературную газету» и в толстые журналы («Литературная газета» за 25 лет не опубликовала его ни разу, «Звезда» напечатала в первом номере за 1957 год рассказ Бориса Дмитриевича «Бессмертие»). Страдал от полного невнимания писательской организации, когда, даже живя в одном с ним доме, на одной лестнице, никто не навещал его, больного, не спросил, не нужно ли чего.

Пришло долгожданное время, когда можно издать воспоминания Бориса Дмитриевича о тюрьмах и лагерях сталинской поры, когда можно говорить о Четверикове не обтекаемой фразой «человек трудной судьбы», а рассказать всю правду о пережитом им десятилетии. Придет и в полном смысле его время, я верю в это, когда о Четверикове напишут монографии, создадут фильмы, когда его произведения исследуют должным образом и оценят по достоинству, когда Четвериков займет свое заслуженное место среди писательских имен XX века. Он был баснословно талантлив, этот великий труженик и жизнелюб. Нам еще предстоит открывать и осваивать огромный клад — творческое наследие Четверикова, и я сделаю для этого все, что смогу. Он мне это завещал, и я считаю это своей миссией на земле.

В заключение позволю себе привести акростих, посвященный Борису Дмитриевичу, который я написала 6-го августа (в день Бориса и Глеба) 1967 года:

Беречь тебя, любить, лелеять,  
От всех ударов заслонять,  
Ромашками твой путь усеять  
И солнцем над тобой сиять,  
Служить твоей волшебной лире,  
Четыре жизни жить с тобой,  
Еще четырежды четыре  
Тебя во всем прославить мире —  
Вот мой девиз, вот лозунг мой!  
Единственный, неповторимый,  
России преданный навек, —  
Изобразить бы это зримо,  
Какой ты чудо-человек.  
Откуда только красок взять  
Воспеть тебя, тебя объять?!

*Н. Четверикова*

\* \* \*

Я пишу эти строки 12 апреля 1979 года, когда наша страна отмечает великое событие: в этот день 18 лет назад в космос вылетел человек и благополучно вернулся обратно. Этим первым космонавтом был советский летчик, майор Юрий Алексеевич Гагарин. Отлично помню этот день. Утром наша соседка включила радио и, услышав начало важного сообщения, высунулась в коридор с криком: «Человек летит!» Все, кто был на кухне, бросились к окну, думая, что кто-то упал. Но мы уже включили радио. И с того момента только и бегали от радио к телевизору и от телевизора к радио. Да, величайшее было событие, гордостью наполнялось все существо. Весь мир только об этом Гагарине и толковал. На улицах было празднично, в Союзе писателей был митинг, я ходил на этот митинг взад и вперед пешком. Солнечный был день. И большая радость.

Случайное совпадение: именно на рассвете 12 апреля в 1945 году я очутился в тюремной камере на Шпалерке. Это тоже был своего рода полет в космос. Но там радости было мало.

Кому я ни скажу, что отсидел одиннадцать лет, все понимающе и сочувственно кивают:

— А! В тридцать седьмом?

Почему-то в массах утвердилось мнение, что сажали, расстреливали только в тридцать седьмом. Это не верно. Сажать начали сразу после смерти Ленина. Первыми поехали в лагеря старые большевики, ленинцы. Затем сажали, так сказать, кампаниями. Была польская операция, была церковная. Особенно свирепо расправлялись с лицами дворянского происхождения.

Это было жуткое зрелище. На Московском вокзале, на перроне — толпы растерянных людей, пианино, диваны, шкафы... Было объявлено, что выселяемые дворянские семьи могут брать с собой любые вещи. А на вокзале выяснилось, что и людей-то еле впахнут в теплушки, какие там диваны. Вопли, плач, истерики... Пронырливые деяги скупали все за бесценок. Цена была — сколько дадут. Дети почти не плакали, а только смотрели изумленными глазами на эту свалку.

Это самые ранние мои питерские впечатления. А в 30-е годы я видел и пострадавшие картины, когда ездил на Север, в Архангельск и Вологду, в зимнюю пору. На всем пути от Котласа до Архангельска прямо на снегу виднелись кучки людей, высаженных из эшелонов «раскулаченных». Трудно было поверить, что

грудных детей, и постарше, и совсем молодежь раскулачивали: **ведь у детей не было ни своих коров, ни своих изб.** И вряд ли грудные дети угрожали свергнуть советскую власть. Раскулачивали тех, у кого не одна, а две коровы. Словом, надо было быть совсем идиотом, чтобы не понять, что это зверское, батыевское истребление народа, а не классовая борьба.

Сажали и в 40-е годы — я тому пример. Сажали и позже. Ужас, навеянный неслыханными репрессиями, не рассеялся до сих пор. Люди потрясены самой возможностью таких расправ и издевательств. Ведь счет все время шел на миллионы. Ничего подобного не испытало Российское государство за все время своего существования с X-го века по XX-й.

Итак, 11 апреля — в ночь на 12-е — 1945 года я был арестован по клеветническому доносу одного субъекта, которого уже нет в живых и которого я не называю только потому, что не имею на руках документа с его фамилией. Но документ такой есть, существует, его зачитывали мне в апреле 1956 года в Ревтрибунале на Дворцовой площади, а выдать отказались: только-де по запросу какой-либо организации или учреждения могут дать.

Ладно. Субъект субъектом, но и без него хватало кому-то забот стряпать мое «дело».

Началось все с того, что красивый молодой офицер ГПУ Алексей Федорович Андреев (в телефонной книге за 1965 год значился А. Ф. Андреев, если это тот самый, то адрес его был: канал Грибоедова, 140) — вызвал меня на Литейный проспект, в свой кабинет на 6 этаже Большого дома, и не в просительном тоне, а почти в форме приказа сообщил мне, что я включаюсь в работу над краткой литературной энциклопедией. Он добавил, что это не секретная, не агентурная, а обычная энциклопедия, над которой трудится большой коллектив критиков, литераторов и биографов, а я, дескать, с 20-х годов многих знаю и о многих могу рассказать как никто другой.

Поначалу я был даже польщен таким предложением и с жаром принялся за работу. Этот труд отнимал много времени, так как помимо личных впечатлений требовал и справок, и личных бесед. Выяснилось, что он и не оплачивался, что это, так сказать нагрузка. А Андреев еще и нажимал, торопил. Через год я оказался совсем без денег, потому что ничего не успевал писать, ничего не предлагал издательствам, а значит, и ничего не зарабатывал.

Свои статьи я по мере готовности сдавал, подписывая полной фамилией, и долго не понимал, что надо мной издеваются, что никакой энциклопедии никто не собирается издавать, а хотят изобразить из меня полусумасшедшего маньяка, который доносит на всех подряд, даже по алфавиту, начиная с «А». Конечно, если прочесть мною написанное, станет ясно, что это — литературные портреты, зачастую дающие полное представление о творчестве писателей, которых я лично знал и любил. Но в том-то и дело,

что никому, вероятно, не давали их читать, а только показывали начало и конец: вот, мол, пожалуйста, смотрите — о таком-то и о таком-то написано, и везде подпись — Четвериков. Это была гнусная затея Андреева восстановить против меня писателей. Но не думаю, что кто-то поверил этим наветам.

Однажды ГЛУБОКОЙ НОЧЬЮ меня вызвали в Большой дом и привели к Федосееву — он, кажется, был тогда значительной фигурой. И для чего привели? Только для того, чтобы уверить Федосеева, что я ненавижу, вернее, — не признаю Прокофьева! Прокофьев — мой друг, причем, по капризу судьбы, друг с первого его появления в Ленинграде, в «Космисте», на шестом этаже нынешнего Дома радио. Если что и мешало нашей дружбе впоследствии, так только водка, я не мог с ним из-за этого встречаться. Но я его очень любил. И творчество его любил. Правда, говорил, что он прежде всего лирик и что его поэмы — это как бы циклы лирических стихотворений. Так из этого Андреев пытался сделать чуть ли не отдельную статью по моему «делу»! Статью эту даже «особое совещание» и то вычеркнуло как нелепую.

Лично меня Андрееву не за что было ненавидеть, я его и не знал и не сталкивался с ним. Единственное, что могу предположить, — что в отношении меня он получил задание свыше. Так или иначе, но Андреев стал вызывать меня ежедневно, не жалея даже своего времени. Я ничего не мог понять, даже не понимал, чего, собственно, от меня хотят и почему Андреев просто-таки шипит, задыхаясь от злости. Возможно, что некоторые ограничения функций ГПУ мешали Андрееву без лишних церемоний списать меня со счета в угоду своим хозяевам, может быть, потому он злился и сатанел? Но откровенных издевательств он изобретал много.

Чего только не проделывали со мной — вплоть до подсовывания провокатора, который навязчиво лез ко мне с крамольными политическими разговорами, и я не мог от него отвязаться, а ему нужно было, наверное, только одно: чтобы нас несколько раз видели вместе, и тогда получится, что я слушаю его бредовые идеи и ничего не предпринимаю — значит, я уже соучастник? или недоноситель? Если это затея Андреева — с провокатором, это не делает чести его уму. Ну, подумайте, внезапно является откуда-то с Северного Кавказа некий писатель, его почему-то выбирают на роль моего друга, и этот «друг» чуть не с первых слов начинает уговаривать меня устроить вместе с ним государственный переворот! Боже мой, разве так делают? Это же грубо, непродуманно, глупее не придумаешь! Мы совсем не были знакомы, разве что по встречаем в издательствах или каких-нибудь общественных местах. Я у него не бывал, он у меня не бывал, даже по кружке пива мы с ним ни разу не выпили за одним столиком. Надо же было все это учесть, прежде чем затевать такую авантюру, — белыми же нитками все шито!

Я наконец стал догадываться, что это просто-напросто преследование, стремление извести меня, довести до сумасшествия,

до самоубийства. Но все еще верил, что что-нибудь выяснится, не могут же так, зазря истязать человека.

Взять хотя бы историю с литературной студией.

Были среди работников ГПУ люди, очень меня как писателя любившие и ценившие. Они были как бы вторым планом, их сила не брала. Но они не одобряли того, что творилось в недрах Большого дома. И они предупреждали меня:

— Борис Дмитриевич, вас в скором времени назначат руководителем студии, которую откроют в Доме писателя. Ни в коем случае не соглашайтесь, иначе вы погибли!

А как я мог не соглашаться? И я решил, что погибну так погибну, но взял и эту студию в дополнение к нескольким другим, которые уже вел. В эту студию записалось сначала 46 человек, их список у меня сохранился, а вскоре ходило до ста человек, в основном, коммунисты и комсомольцы, а по специальности (списываю из своей чудом уцелевшей тетради): учитель, учащийся ЛФШ, учащийся 188 школы, калькулятор столовой, архитектор, технолог, журналист, военнослужащий, медсестра, инженер-строитель, врач, радиотехник, химик-лаборант, повар, печник РЖУ, рулевой флота, шофер, экскурсовод, гидрограф, актриса, корректор, библиотекарь, студент ЛГУ, юрист, монтер... Занимались мы в так называемой Красной гостиной Дома писателя, народ еле вмещался, приходили послушать и писатели. А когда я рассказывал о том, как строится новелла, то пригласил Михаила Михайловича Зошенко (значит, он уже был в Ленинграде, это был 1944-й — начало 1945-го). Зошенко пришел охотно и прочел несколько своих миниатюр. Приезжала Инбер. Вообще студия вызывала большой интерес, а я отдавал ей и все свое время и все свои силы.

О том, что ГПУ включило в состав студии своих сотрудников, я догадался не сразу. Когда один тип попытался высказать на занятиях что-то такое с душком, я резко оборвал его. Работавших на ГПУ было, по-моему, трое-четверо. При помощи их Андреев «изготавливал» мне статью 58-11 — создание антисоветской молодежной группы. (Эти юноши под угрозами подписали показания, что была такая группа. А их потом тоже шарахнули на 10 лет. И они из лагеря строчили жалобы, что их обманули.) Один из этой компании жил тогда на Петроградской, он ходил за мной уже год, носил с собой в папке одни и те же наброски якобы им начатой повести, — значит, изображал начинающего писателя. Работал как агент хорошо, но слишком частил, и эта застрявшая на одном месте фальшивая повесть в одной и той же папке — неудачный прием. Другой должен был отвечать за меня в день моего ареста.

Им было поручено уговорить меня хоть изредка проводить дополнительно к студийным занятиям еще и у себя дома. Особенно упрашивал тот, что помахивал своей неоконченной повестью. Я согласился. Но после первого же сборища у меня в кабинете (а набралось десятка полтора юношей и девушек)

прибежала к нам комендант дома Маша Бурягина (она дружила с моей женой) и сообщила, что у нее только что были двое из СМЕРШа (отдел ГПУ), в военном, и предупредили, что в квартире номер такой-то, то есть в моей квартире, собирается подпольная антисоветская группа, так вот чтобы Бурягина не препятствовала, а содействовала: будут ставить на чердаке над моей квартирой подслушивающий аппарат, а в пустующей в настоящее время квартире поэта Гитовича будет сидеть барышня и записывать услышанные разговоры на пленку.

Мне было и грустно и смешно. Больше всего я досадовал на никуда не годную работу этого СМЕРШа, просто издевательство какое-то. Что если бы я был на самом деле шпион, заговорщик? Разве можно так действовать?

Я злился. Когда двое каких-то людей устанавливали этот аппарат над моим кабинетом, они даже не потрудились плотно закрыть дверь на чердак и топали так, что известка с потолка сыпалась. Я поднялся туда и прикрикнул на них, что, мол, тише вы ворочайтесь, ведь слышно все. Они что-то пробурчали, стоя оба на корточках, и я ушел, взбешенный, что устраивают балаган какой-то. А вскоре дворники нашего огромного дома нечаянно оборвали проводку этого подслушателя.

Кроме этой молодежи из студии, ко мне приставили двух матерых агентов: один — известный артист, другой — коммерческий директор пивного завода. (Отлично знаю, помню их фамилии, но принципиально не хочу называть их, не в них же, не в конкретных лицах дело, а в сути вопроса.) Наблюдение их за мной выразилось в том, что они постоянно устраивали у меня на квартире попойки. Я в их пьянках не участвовал, хотя зачастую присутствовал, зато не отставала в этом от гостей моя случайная супруга.

Тут я вижу, что придется сказать несколько слов о ней, чтобы объяснить слово «случайная». Дело в том, что на этой Татьяне Ильиничне Самоквасовой я женился в 1930 году, почти не зная ее, как бы «в отместку» женщине, которую любил (и она меня любила), с которой был в связи, но которая никак не могла бросить своего постылого мужа (я об этом подробно рассказал в соответствующем месте своих воспоминаний). Когда я предложил ей не бегать так друг к другу, а развестись и оформить отношения со мной, она испугалась какой-то угрозы мужа, наш брак не состоялся, я с ней порвал и демонстративно, «на зло» женился чуть ли не на первой встречной. Ну и поплатился за этот глупый поступок, и нес свой крест.

Эта женитьба была моим несчастьем, многое в моей жизни было бы не так, не будь ее. Она сумела отгородить меня от матери, от сестры, от племянниц, даже от брата, живущего в Ленинграде. Я вроде как принят был из милости в их семью Самоквасовых, Четыркиных, Лиходзиевских. Я был вроде квартиранта. И всегда я оказывался всем должен, и всегда у меня были нехватки, а мадам ездила на курорты, плавала в бассейне, устра-



ивала дома вечные пульки и выпивоны в окружении какой-то своры светских бездельников и забулдыг, заводила бесконечных любовников. Я вечно был один, ночью — за письменным столом, днем — подогревая себе завтрак и обед. Какой ущерб мне нанесла эта особа в литературных кругах! Как эта обстановка отразилась на моем творчестве! Такие «домашние б...», как называл В. И. Ленин жен, не воспитывающих детей, не ведущих хозяйство, занятых кошечками да собачками, маникюршами да теннисом, курортами да портнихами, — наносят большой вред мужу, тянут его в болото. Стоит взглянуть на мою библиографическую справку, чтобы убедиться в этом. В 1925 году я выпустил 5 книг, в 1926 — шесть, в 1927 — пять, в 1928 — четыре, в 1929 — пять. Но вот приходит 1930 год, год моей встречи с этой пиковой дамой. И что же? В 1930 году переиздан рассказ «Самовар». В 1932 с большим напряжением написана небольшая книжка «Афанасий Ковенчук» (а в 31-м вообще ничего). В 33-м — «Голубая река». И все. Пауза. Семейная жизнь не создает условий для творческой работы. Задуманный роман «Деловые люди» пишу мучительно долго, он выходит из печати только в 1939 году. В 1943 году на стеклографе напечатана пьеса «Вороний камень», в 1944-м — очерк «Три года всеобуча в Ленинграде». Вот творческий отчет за годы, связанные с Самоквасовой. Она подрезала мне крылья, она опустошила меня. Меня вот пытали в тюрьме, и все-таки я скажу, что эта самая Самоквасова причинила мне больше зла, чем садист-следователь. А я-то в 30-м году спас ее от гибели в болотах северных лагерей! Вот уж поистине иной раз доброта бывает хуже куриной слепоты. И до чего жалкие существа мы, мужчины. Я много раз наблюдал, как они бьют хвостами, как судак, когда хозяйка сдирает с него чешую, готовя уху. Вот и я долго был в роли такого судака. А развестись мне удалось только после лагеря, хотя вопрос этот вставал неоднократно и особенно остро — когда я установил, что моя благоверная сошлась и с тем и другим агентом. (Ведь какой нужен цинизм, чтобы во время войны, когда я был в армии, завести двух любовников одновременно и разрабатывать любовный график, согласовывая с календарем, когда с которым предстоит переспать!) Я объявил супруге, что разводиться в дни блокады как-то неприлично, не до разводов городу, но я считаю себя разведенным, и пусть она это запомнит.

Страшная история. И какое же счастье, что пришла в мою жизнь Наташа! Она придала мне решимости порвать не только с Самоквасовой и ее мещанской семьей, но и со всем этим прогнившим миром. Пусть очень поздно, но все-таки я вырвался из этой черной тьмы.

Оба агента почти не скрывали, в каком амплуа они выступают. Видимо, это входило у моих наблюдателей в задание. Антисоветских разговоров не заводили ни они, ни я.

Странно, что я все это видел, но все равно даже мысли не допускал, что меня могут посадить в тюрьму. Ведь постоянно

наблюдая за моей жизнью и расспрашивая, вероятно, в интимные минуты мою жену, они абсолютно ничего предосудительного не могли узнать, я чист был как стеклышко. Даже каких-нибудь сомнительных знакомств у меня не было. Работа, и все. Даже не пил я, совсем, ни рюмки. И раньше-то, бывало, в питейные заведения редко ходил, разве что в компании Л. Грабаря — посмотреть, как он раков ест, — целиком, кроме жесткой скорлупы. А потом даже шутку такую придумал: «Не проговорись, что я непьющий, а то меня из Союза писателей исключат».

Жил я всегда открыто, но мало бывал на всяких собраниях, заседаниях, встречах, так как много работал, писал. Ко времени ареста у меня было издано более тридцати названий. Это за 23 года жизни в Ленинграде, значит, какая-никакая, а выходила книга чаще, чем раз в год. Правда, сюда входят и маленькие книжечки — отдельно изданный какой-то рассказ («Федька-Кувылда», «Фатима», «Самовар»), их издавали даже без согласования со мной, мое дело было только получить гонорар, а тогда еще не обсчитывали писателей и не снижали гонорара при переиздании, и правильно, по-человечески делали: перепечатывают то, что особенно удалось, значит, справедливо бы было ПОВЫШАТЬ, а не понижать оплату при переизданиях, а произведения, которые выдержали несколько переизданий, оплачивать двойным гонораром. Это я так, к слову. Я-то лично в этом уже не заинтересован: недолго мне осталось получать.

Да. Но я завел речь о том, что со мной проделывали перед арестом. Было еще много разных трюков. Я не все упомяну, да и неприятно вспоминать, тяжело.

Например, у них по плану, видимо, полагалось провести в квартире обыск, но так, чтобы хозяева квартиры не узнали об этом. Так вот как было выполнено это.

Мне позвонили из Главной милиции, с Дворцовой площади:

— Не желаете ли, Борис Дмитриевич, посмотреть документацию недавнего убийства? Вам как писателю, да и вашей жене, вероятно, будет интересно это, непременно захватите и ее.

Я улыбнулся: ну, думаю, еще какой-то фокус.

Пришли на площадь. Вход почти у самой арки. Встретили с медвежьей любезностью, — так танцуют люди, не умеющие танцевать. Усадили нас, дали кучу альбомов, где отсняты все моменты расследования этого уголовного дела. Когда чиновник милиции тут же глянул на часы — «засек время», я уже почти понял, что им для чего-то нужна моя квартира.

«Не подсунули бы мне рацию или склад оружия...» — подумал я — не с тревогой, а с досадой: дескать, зачем они все это проделывают, да еще так неуклюже?

Наконец, нам позволили уйти. Дома (канал Грибоедова, 9) мы нашли полный порядок. Ни одна вещь не сдвинута, все сохранено, как было.

Это был второй случай. Несколько раньше, когда я жил на Моховой, рядом с глазной лечебницей, тоже делали тайный обыск.

У меня тогда был ирландский дог, красавец с золотистой шерстью. При нем можно было войти в квартиру, но выйти он не даст до нашего прихода. Они увели моего Чапа, вероятно, предварительно дав ему какого-нибудь снадобья. Они убили его, чтобы свободно произвести обыск.

Да, все это было. А я все не верил, что меня арестуют.

Помню, у меня дрогнуло сердце, когда формировалась творческая бригада для выступления в Кронштадте, куда, как известно, необходимы пропуска. И вдруг — меня вычеркнули. Кто-то из писателей смущенно мне об этом сообщил.

Начал я работать редактором фронтовой радиогазеты, уже выпустил в эфир несколько номеров этого устного радиожурнала, иногда привлекая к работе Ольгу Берггольц, мы были очень дружны. И опять ВДРУГ, без всяких причин, сняли меня, и сейчас на Ленрадио даже следов нет о моей работе там, видимо, в архивах сведения о репрессированных уничтожены.

Обратился ко мне бывший Николаевский госпиталь с предложением написать книгу — историю госпиталя. Я с увлечением работал, собрал кучу материалов, там было много интересного для истории, написал уже первые главы. И тоже ВДРУГ мне объявили, что книгу выпускать не будут. Что-то мне уплатили в виде неустойки. Лица у них были испуганные и озадаченные.

Ленфильм, вернее — редакция коротких научных фильмов (она помещалась где-то в районе хлебного элеватора и мельницы, точного названия ее я не помню) заказала мне сценарий, выдала аванс — и ВДРУГ порвала со мной без объяснения причин.

Меня упорно не печатали, хотя я очень много написал за годы войны и блокады.

Вот так издевались надо мной года два до ареста. Мне даже не хочется и стыдно рассказывать, что еще выделявали со мной. Зачем это оставлять в записи, думаю я иной раз, и без того, мы, россияне, натворили много такого, что не хотелось бы, чтобы знали потомки. Неловко как-то и обидно, больно. Но понимаю, что рассказывать надо, нельзя унести это с собой. Хотя это лишь малая часть всего пережитого. Лишь то, что я вот сейчас, ночью припомнил.

Однако были ведь в ГПУ люди, уважавшие и даже защищавшие меня, не одни же Андреевы там сидели. Очевидно, Андреев был выше по должности и наглее, подлее по характеру. Я видел это откровенное размежевание, видел, что Андреев, так сказать, по одну сторону фронта, а Обком, например, по другую. И поэтому, хотя и замечал, наблюдал всю возню вокруг меня, всю эту грязную стряпню, но почему-то наивно верил, что до ареста дело не дойдет, что кто-то не позволит, не допустит этого. И размышляя об этом сейчас, я думаю, что какое-то основание для такой странной, непомерной уверенности у меня было.

Дело в том, что к 1945 году я был очень горячо и прочно признан как писатель. Меня знали в Обкоме партии, Горком комсомола называл меня своим писателем, меня любили, моими кни-

тами восхищались. В годы блокады я написал в числе других поэму «Ленинград». Попков замучил актеров, требуя, чтобы они читали эту поэму. Поэму любила и широкая публика. Я сам ее часто читал на передовых позициях, в клубах. Но чаще она звучала в исполнении двух актеров: Полицеймако и Велецкого (у Эдуарда Велецкого она и сейчас в репертуаре).

Однажды Полицеймако уговорил меня послушать, как мою поэму принимает публика. На этот раз он выступал в Филармонии. Я сел в директорской ложе. И вот читают «Ленинград». Я очень волнуюсь. Вглядываюсь в зал и вижу, что многие плачут. А по прочтении актер объявил о присутствии автора. Все встали и устроили мне овацию. Тут уж и у меня от волнения проступили слезы.

В другой раз я побывал на чтении поэмы «Ленинград» на Мойке, в Юсуповском дворце, знаменитом тем, что там был убит Распутин. Как слушали поэму! Я был потрясен. А когда поэма была прочтена, ко мне бросились мужчины, женщины, военные, штатские, старые и молодые.

— Я в таком возрасте,— кричала одна старушка,— что могу себе позволить поцеловать вас!

— Спа-си-бо! Спа-си-бо! — скандировал зал.

Мне было и неловко, и радостно. Я гордился, что могу вызвать такие порывы в людях. Ну мог ли я думать, что меня упрячут в тюрьму?

Но ведь и тысячи партийцев, комсомольцев — могли ли они допустить даже отдаленную мысль, что за их самоотверженность, за их работу в условиях блокады, за их пожертвованную долгу молодость, за их героизм всех их похваляют, будут над ними измываться и перестреляют ни за что, ни про что? Никто не мог тогда даже предположить, что бериевская клика истребит всех этих лучших из лучших представителей советского народа, это могло прийти в голову разве что сумасшедшему.

А какие люди в Ленинграде были! Один Попков чего стоит! Я его уже упоминал, это был председатель Ленгорисполкома, а впоследствии секретарь Обкома, большой поклонник моего творчества. Я только со временем понял, что меня не посадили раньше, потому что этому противодействовал Попков. Когда была решена участь самого Попкова и он должен был стать жертвой гнусного «ленинградского дела», настолько постыдного для нас, что мы избегаем о нем говорить,— сразу посадили и меня.

Я знал, вероятно, до ста человек из числа истребленных. Ужасно думать об этом. До сих пор мозг не принимает, что нет Чернушки,— была такая азартная работница Горкома комсомола (он тогда помещался возле особняка Кшесинской). Да и многих я по-настоящему любил. А все они — да и я тоже — были, оказывается, уже обречены...

Поэму «Ленинград» актер Полицеймако читал на торжественном вечере в Смольном в 1944 году, в годовщину Октября. Загур-

скому (он возглавлял в то время Управление культуры) было поручено пригласить меня, пожать мне руку и поблагодарить за поэму от имени Обкома. Ему же было поручено издать поэму «Ленинград» на роскошной бумаге в подарочном переплете. Но Загурский не выпустил поэмы — не потому, что не хотел или не удосужился, а по-видимому, потому, что, куда он ни совался, везде наткнулся (даже он!) на какую-то преграду и не мог ничего понять. Комсомольские работники тоже ретиво брались за это дело. Как-то меня с почетом приняли в Горкоме, написали прямо на поэме: «Немедленно напечатать!» и велели передать ее в Союз писателей. Я передал. Но поэма так и не была напечатана до 1967 года. А дача на Карельском перешейке, подаренная мне Правительством за мое блокадное творчество? Я в ней так и не пожил...

Как-то лет пятнадцать назад Яков Антонович Назаренко (это «красный профессор» эпохи 20-х годов, один из множества облепивших советскую литературу трутней) принес мне «Эстрадный сборник», изданный в 1945 году, где помещена моя поэма «Наше поколение», а я этого сборника и не видел, будучи в то время уже в тюрьме. Назаренко сказал: «Удивительное дело — там у тебя не упоминается Сталин!» А мне вспомнилось, как возмутились когда-то в радиокомитете, что нет Сталина в поэме «Ленинград». «Это же политическая ошибка! — восклицал Н. Ходза. — Но это легко исправить...» И он предложил мне заменить Сталиным не кого-нибудь, а... Петра Великого! «Там у вас есть место с Петром — так пусть вместо него по городу идет Сталин». Я категорически отказался от такой замены.

За одно это могли, наверное, посадить. А я все не мог поверить, что попаду в тюрьму. Мне казалось, что ведь нелепо: чествуют, награждают дачей, устраивают овации, благодарят... по радио передают мой «Ленинград» (передают-таки и без переделок!), и еще у меня были произведения военных лет, с ними тоже выступают актеры... — какие же тут, к черту, аресты?

Тем оглушительнее был удар. Он мог свалить меня, убить. Спасла бурлившая во мне жизнедеятельность. И еще спасла любовь к людям. Я сам сидел в тюрьме, а жалел других несчастных.

У некоторых ленинградцев и москвичей были заранее приготовлены чемоданчики — «на всякий случай»: мыло, полотенце, зубная щетка, ночные туфли, фуфайка, спички, две пачки папирс. Нет, они не чувствовали за собой вины. Но ведь всех хватили, значит, могла дойти очередь и до них.

А я не готовил чемоданчика, хотя по небрежности моих истязателей видел и разгадывал смысл их беспардонной оскорбительной возни, хотя моя жена уже давно оформила фиктивную «дарственную» на рояль: будто этот рояль подарил ей Виталий Павлович Полицеймако, — значит, ждала, что меня арестуют, и боялась конфискации имущества. А я все верил во что-то, дуралей, все надеялся на чудо!

Субъект, оклеветавший меня, был, увы, вхож в мой дом — не как знакомый, а как один из начинающих писателей, их ходило ко мне много, у меня была отдельная полка для приносимых ими сочинений. (Печальный опыт прошлого, когда эта публика и посадила меня в тюрьму, напрочь отбил во мне охоту возиться с «начинающими».) В смысле литературной карьеры, как это ни странно, он преуспел. А как агента его, видимо, не очень ценили, ибо совсем не засекречивали и даже от меня не скрывали его фамилию: следователь в тюрьме клал на самом виду его донос, где черным по белому сообщалось, будто наедине с ним Четвериков говорил, что надо убить Сталина. Вот так. Ни больше, ни меньше. Представляете, какого матерого врага удалось обезвредить в моем лице? Тем паче если учесть еще и «созданную» мной «молодежную антисоветскую организацию»?

И все-таки я не жалею, что в те поры много занимался с молодежью и отдавал ей часть души. Из литстудий, где я работал, кое-кто «вышел в люди». Например, Юрий Воронов, талантливый поэт. Или редактор «Книжного обозрения» Алексей Овсянников. Или Юрий Помозов, Николай Кондратьев, Семен Ботвинник — как ни говори, приятно, что эти люди сейчас в Союзе писателей, хотя за эти годы Союз писателей здорово избезобразили.

Но те же студии доставили мне много горьких минут, если вспомнить насаженных туда согладатаев и послушных служаков черных сил ГПУ. В день моего ареста в чужую, где сам не состоял, литстудию в Доме промкооперации примчался один из них — вытаращенный, запыхавшийся. Он вбежал в комнату, где я вел занятие, и, хотя был весь промокший и взъерошенный (на улице шел дождь), проводил меня затем до самого подъезда дома на канале Грибоедова, 9. (В писательских кругах этот дом назывался «недоскрёб». В него попала масса снарядов в войну, один даже застрял в коридоре, как раз у моего кабинета, но, по счастливой случайности, не разорвался, его вынесла на своих руках дружинница Маруся из отряда МПВО). Было пять вечера, когда мы с моим провожатым распрощались у двери, а пришли арестовывать меня ночью. Очевидно, ему было поручено препроводить меня домой. Может быть, он до самого этого часа моего ареста был где-то поблизости и следил, чтобы я никуда не ушел?

Явились за мной, как я узнал позже, мой следователь Алексей Иванович Кулаков и его помощники со смешными «псевдонимами», что-то из Тургенева, я потом впишу, где-то у меня сохранился протокол этого «мероприятия», подписанный Кулаковым. Фамилия у следователя была удачная: у него были огромные и странно розовые кулаки. Грамотностью он не блистал и на первом же допросе, когда речь коснулась газеты «Вперед», написал ее название так: «в» отдельно, а «Перёд» в кавычках.

Когда раздался ночью резкий звонок, я почему-то сразу понял, что пришли брать меня. И я решил их немного придержать. Ночь

была холодная, и я долго не открывал им. Они пробовали взломать двери — не смогли. Пошли погреться этажом ниже в квартире писателя Кратта.

Наконец, я больше не мог выдерживать.

— Почему так долго не открывали?

— Крепко сплю,— ответил я.— У кого совесть чиста, спят крепко.

Обыск шел всю ночь. Понятая — жена писателя Петра Капицы — дремала.

Станным образом у меня исчезли при обыске толстая пачка облигаций займов и ценнейшая коллекция марок.

С этими марками такая история. Но прежде чем рассказать ее, я должен вернуться в 1942 год, в тот период, когда во время блокады я служил в героической 42-й армии. Правда, в этой тетради речь идет не о блокаде, но, пожалуй, и о блокаде, если учесть, что война и блокада предшествовали моему аресту и это все совсем рядом. Много я знаю об этом периоде страшного, что надо бы записать. Но вряд ли успею. Так хочется коснуться хотя бы того, что вспоминается попутно.

В армии я был непосредственно подчинен полковнику Агафону Агафону, интеллигентному, обаятельному человеку и страстному книголюбу, которого я запомнил как честнейшего и скромнейшего из всех, кого знал. Он пригласил меня к себе — помощником начальника Армуенторга. Однако мобилизовать меня и оформить как военного (мне причиталось по служебному положению звание майора) не смог — видимо, по тем же причинам, по каким мне не дали поехать в Кронштадт, работать редактором фронтовой радиогазеты, писать историю госпиталя и прочее. Штаб Второго эшелона помещался на Малой Охте, на берегу Невы, как раз напротив уже брошенных складов, где обитали одни крысы. У высшего состава штаба была отдельная комната в нашей столовке, в подвальном этаже, и я получил там место. А аттестовать меня не позволило ГПУ. Так я и работал в своей штатской одежде.

За время пребывания в армии я шесть раз ездил на Большую землю по знаменитой Дороге жизни с шофером Ваней Шваковым (где-то он теперь? жив ли, нет ли?): туда отвозил военные грузы и семьи офицеров, а оттуда вез в числе другого и продукты — рыбу, квашеную капусту. Агафону Агафону мне безгранично доверял. Когда в Ленинграде пошли слухи о сдаче города фашистам, Агафону Агафону предложил мне пробиваться к своим на его личной машине: «Нагрузим,— говорил он,— машину продуктами, возьмем оружие, сколько будет возможно, проедем, а потом бросим машину и отправимся пешком». Я, конечно, сразу же согласился. Но приехал маршал Жуков и все изменил...

Агафону Агафону кончили еще до окончания войны. Мне рассказал об этом полковник Иванов Михаил Иванович из Главного штаба фронта, помещавшегося около цирка. Как он выразился,—



«Агафонычев вроде бы помешался и вскоре умер». Иванову и в голову не приходило, что Агафонычева отравили: слишком много он знал о преступниках военного времени и об их высоких покровителях. А полковник Иванов поселился после войны в Симферополе. Говорят, очень пил. Между прочим, узнав, что со мной случилось несчастье, он перевел на мое имя сто рублей. Получить эти деньги мне удалось только при помощи оперуполномоченного, вообще-то не полагалось: спецлагерь.

Но ближе к делу, к обещанной истории о марках.

Будучи на армейском довольствии, я мог иногда сунуть что-нибудь съедобное людям, жившим на нашей лестнице. И вот как-то поднимаюсь по лестнице домой, а меня поджидает соседка.

— У меня все умерли,— спокойно, по-блокадному сказала она,— очередь за мной. А вы были так добры, подкармливали, как могли. Мне хочется оставить вам на память самую драгоценную в нашей семье вещь — коллекцию марок. Ее собирали три поколения: дед, отец и муж. Я очень прошу, возьмите ее.

Я смущенно просил ее не дарить, я никогда ничего не коллекционировал, и вообще мне неудобно. Она уговаривала со слезами на глазах, слез у блокадников не было, впрочем, но глаза умели грустить. И я взял подарок. Тяжеленный толстый альбом был мне в тягость, я сам-то еле поднимался. Но ведь при таких обстоятельствах это святыня.

Хотел бы я знать, куда девалась эта святыня. Женщина, отдавшая мне семейную реликвию, вскоре же умерла. Так жаль ее, так жаль. Но в блокаду мы и жалели как-то отвлеченно, не знаю, как объяснить... Вот однажды я на Марсовом Поле увидел, что человек падает, а кто падает, больше не встает. Я его поддерживаю, а у самого сил не хватает. Прошу идущих мимо помочь, они глянут и говорят: «А чего помочь, он готов, оставьте его». И действительно, он упал мертвый. А говорил, что живет где-то совсем рядом... Стою над ним, думаю, надо бы достать у него из кармана документы и сообщить родным. Но ведь и родные, поди, умерли... А главное, я никак не мог решиться залезть в его карман. Ему-то вообще ничего уже не нужно. А место для смерти он выбрал прекрасное: аллея Марсова Поля, в углу, около мостика, ведущего к Церкви на крови. Постоял я — вместо панихиды — и поплелся домой. Это было еще в 1943-м.

Но я пишу об обыске. Я сидел рядом с моей отставной женой, а эти посетители лазали по шкафам и полкам и складывали в мой же вместительный чемодан все мои архивы, переписку (в том числе письма Рубакина, Вс. Иванова, Федина, многое уже не вспомню), черновики, мои гимназические дневники (а их было 36 толстых тетрадей в клеенчатой обложке), новые, еще не напечатанные рукописи: рассказы, стихи, шесть глав начатого романа «Актеры», повесть «Записки контры»... А заодно — и сочинения Есенина издания «Березка».

Я как бы омертвел. Смотрел, видел, но никаких чувств не было. Ведь я — блокадник, а блокадник — это специфическое

существо, его еще не изучили, а понять — никто не поймет. Что-то совсем особенное, с какой-то пленкой, защищающей от смертельной боли и неизмеримого отчаяния. Вот, например, я рассказал случай на Марсовом Поле, когда я пытался помочь умирающему. Мне было жалко его. Но вот он умер. И я пошел домой. И ничего. И на пути видел еще много мертвецов. А у нас в доме что-то около двухсот квартир, темные, конечно, не освещенные длинными коридоры, и там всегда спотыкаешься, бывало, о трупы. И хоть бы что. Идешь и только стараешься не упасть.

Один из помощников следователя Кулакова сразу же по приходе занялся моими книгами, а книг было много. Но его заинтересовала одна, на другие он больше и не смотрел! Когда я отмечал сорокалетие, то среди множества подарков получил от одного шутника альбом «Красавицы мира» с фотографиями голых женщин — представительниц разных стран и рас. Мы посмеялись, побалагурили, и я поставил альбом в ряду книг на стеллаже. Так вот этот деятель ГПУ наткнулся на него, сел на стул возле книжной полки и всю ночь рассматривал этих красавиц. Татьяна Ильинична толкнула меня в бок и глазами показала на любителя фривольных картинок.

К утру чемоданище был набит до отказа, его с трудом закрыли. (Кстати: вернувшись в 1956 году в Ленинград, реабилитированный, я подал заявление с просьбой вернуть мне все забранное при аресте, но мне ответили, что возвращать нечего, архив уничтожен.)

Перед моим уходом, вернее — уводом, Татьяна Ильинична обратилась ко мне и попросила считать ее женой, пока я отбываю срок, это ей удобнее. Я согласился. И позволил ей продать пачку писем Достоевского, Достоевской, Некрасова, за эти письма мне писательская книжная лавка предлагала 50 тысяч, но я не отдал: ведь это был подарок моего ученика по литературной студии Жукова (имя не помню). Или я уже писал об этом? Жуков — внук писателя Аверкиева («Каширская старина»). Уходя на финский фронт в 1939 году, он пришел прощаться и подарил на память эти письма, у них на Зверинской был дом, весь чердак которого был завален письмами, и его мать растопляла ими печку...

Так вот — вышли мы на улицу. У них легковая машина. Уселись, выехали на Невский, потом свернули на Литейный, а затем на Шпалерную — к тюрьме, где когда-то сидел Ленин, а еще раньше — анархист князь Кропоткин.

В этой тетради я решил писать все начистоту. Так не буду скрывать, до чего же я был наивен (прошу не смеяться надо мной, это грустно, а не смешно): еду арестованный и напряженно думаю — что бы это значил этот обыск и этот арест? Не хотят ли они меня напугать, а затем предложить какое-то смертельно-опасное поручение, где шансов уцелеть очень мало?

«Чудаки! — думал я. — Без всяких фокусов предложили бы

мне самую опаснейшую акцию, и я бы без колебаний согласился!»

Клянусь, что я об этом думал всю дорогу до тюрьмы.

На время до оформления меня запихали в неопрятную клетушку, где человек не может лечь (узко) и где душно, замызганно, оскорбительно, и человек после одной такой ночи уже принимает особый «тюремный» облик: серое осунувшееся лицо, затуманенное сознание, и на него нападает какая-то совсем особая сосущая тоска, тюремная тоска, какую, вероятно, испытывает волк, ущемленный в капкане, но у него преимущество — свежий лесной воздух. Даже если в тюрьме чистота, все равно в ней оседает и все пропитывает тоска тысяч и тысяч прошедших через эти камеры людей. Этой неумной тоской насыщено все здание.

Потом стрижка, фотографирование, отпечатки пальцев, и все это выполняется без грубости, но не людьми, а особыми тюремными служащими, у которых давно атрофированы жалость, совесть, человечность, иначе они не могли бы работать здесь. После всего этого меня определили на постоянное, так сказать, место.

Тут я стал думать: что же со мной произошло? И опять идиотская какая-то наивность. Я прикидывал: может быть, хотят, чтобы я доподлинно узнал, сам пережил состояние заключенного и потом описал его? Может быть, я должен буду изучить жизнь обитателей Шпалерки и написать на этом материале роман? А если не в этом дело, то что же это такое?

Я знал о тюрьмах только по французским романам. И я размышлял так: вот придет мой адвокат, и я скажу ему, что абсолютно никаких преступлений и даже проступков не совершал и не понимаю, зачем, за что меня посадили, так что действуйте по своему усмотрению, как подскажет вам ваша профессия. Эту мысль я всячески отшлифовывал, чтобы высказать ее адвокату точно, четко и без длиннот. Но в том-то и дело, что адвокат не пришел. Не пришел, да и только.

И тогда я занялся устройением своего жилья.

Камера оказалась покрашенной голубой масляной краской. Стол и стул металлические, припаянные к стене. Кровать узкая, но чистая. В камере есть кран, вода и в углу слегка отгороженная уборная — нормальная, но обзереваемая из дверного глазка, а дежурят часто женщины. К узкому крохотному окну прикреплен «козырек», так что виден только кусочек неба.

Я начал с коренной уборки. У меня было достаточно мыла, были носовые платки, полотенца, салфетки. Я принялся за мытье. Вымыл, еле достав, окно, вымыл стол и стул, уборную, все стены и пол. Стало светлее, веселее, а я приятно устал и с удовольствием пообедал: суп и каша. В кухне работают, как я узнал после, только воровки, вообще только не политические, не 58-я статья. Эти же девчонки раздают обед, ужин, завтрак. Им открывает окошечко надзиратель, так они и двигаются вдоль галерей —

металлической, пристроенной к камерам, с железными же ступеньками.

Через мою камеру проходила труба отопления, как войдешь в камеру — слева такое полукруглое за счет площади камеры сооружение, я долго думал, что это секретная какая-то лаборатория для наблюдения за мной. Но что я мог такого сотворить? Я делал гимнастику. Меня сразу же, с первого дня, лишили прогулок и чтения. Я подумал, что, конечно, это опять происки Андреева — вероятно, чтобы я сошел с ума. Но не на такого напали! Вообще-то говорят, что само по себе пребывание в тюремной камере, да еще в одиночке, редкий человек выдерживает несколько лет. Я пробыл в тюрьме 16 месяцев. Что меня спасло? Неутомимая моя деятельность, изобретательность и — забота о других. Но забота о других — это позже. Сейчас у меня была возможность думать только о себе.

Много времени отнимала у меня уборка. Например, на железный столик я постлал салфетку. И салфетку, и носовые платки часто стирал. Стирка — тоже хорошее развлечение. Гладил выстиранное по тюремному способу: влажный еще платок надо положить на одеяло и ладонями разгладить, и так дать высохнуть. Стены я тоже часто мыл. Затем ходил по камере и припоминал, какие знаю арии из опер, опереток, хоровые песни — вообще мелодии. Иногда их вполголоса пел.

Такой работы хватало от завтрака до обеда. Гимнастику делал несколько раз в день, придумывая новые приемы. Иногда смотрел на маленький кусочек неба, который можно было видеть только с одной точки камеры, если встать именно на этом месте и задрать вверх голову. Очень красивое небо, и даже видно, что плывут облака. Хорошее, интересное занятие и ничем не нарушающее тюремный устав.

Днем спать не разрешалось. Лежать тоже не разрешалось. Нельзя было петь, декламировать. Но шепотом можно. И я шепотом читал свой «Ленинград» и вообще все, что помнил наизусть. Иногда устно сочинял. Иногда устраивал прогулки, сосчитав, сколько шагов от двери и до угла около окна. Если шагать зигзагами, то можно выкроить не шесть шагов, а даже восемь. Шаг я считал за полметра. Сто сорок шагов — это семьдесят метров. Пятьсот шагов — это четверть километра. Две тысячи шагов — километр. Может быть, надзиратели докладывали, что признаки сумасшествия я уже проявляю, делая какие-то странные прыжки и движения, что-то мурлыча себе под нос или шагая взад и вперед. Напрасные надежды! Я так организовал свои сутки, что они служили моему оздоровлению и укрепляли характер.

Допросы проходили своеобразно: следователь Кулаков размахивал розовыми своими кулаками и непрерывно выкрикивал трехэтажную ругань, всякую похабщину, но явно «на публику», то есть для проходящих мимо следователей, а глядишь — и начальства: вот, мол, как я лихо работаю!

Когда-то, еще юношей, я изучал гипнотизм. И если я не гипнотизер, то во всяком случае волевой человек, крепкий. У Кулакова на столе лежала металлическая линейка. Мне почему-то казалось, что ему случалось применять ее не как канцелярскую принадлежность. Иногда он и в моем присутствии брал линейку, вставал из-за стола и старался зайти мне со спины. Я собирал в себе внутренние силы и взглядом ловил его взгляд. А сам решал, что в случае чего нанесу ему удар в аорту, чтобы он захлебнулся, а тогда ударю в сонную артерию. Я знал, что вызовут здоровенных специалистов по битью, ночью я часто просыпался от доносившегося крика: «Убивают!» Но Кулаков пока что не решался бить и линейку не использовал как орудие истязания. Он только то и дело выбегал, прерывая допрос, по моим догадкам,— советоваться с шефом, а шефом его, я полагаю, был Андреев, все зло у меня в то время ассоциировалось с ним.

Убивать во время следствия не полагалось, можно было только **ДОВОДИТЬ ДО СМЕРТИ**. Учитывая мой возраст, Андреев и те, по чьим указаниям он действовал, ни на минуту не сомневались, что пережитая мною от первого до последнего дня блокада Ленинграда, плюс полтора года тюрьмы, плюс лагерь наверняка выполнят их мечту — мое исчезновение из этого счастливейшего из миров. Впрочем, Кулаков приговаривал:

— Ты у меня — так твою перетак! — загнешься еще в тюрьме! При чем на самых законных основаниях!

И вот однажды ночью я не спал, а обдумывал свое положение. Мое заявление на имя Попкова Кулаков положил на самом виду на своем столе, чтобы я понял, что оно не будет передано. Я рассуждал так: ГПУ захвачено врагами, и они сильнее советских учреждений страны, я попал в капкан, я в руках врагов, неизвестно, как они решат расправиться со мной...

У меня в камере лежала хорошая передача: американские мясные консервы в банке, шоколад, яблоки, еще что-то, уж не помню. Это в основном старалась сестра Татьяны Ильиничны — Анастасия Ильинична Лиходзиевская, единственная из всей родни жены благоговейно относившаяся ко мне и к моим произведениям. (Ее муж, чекист, внезапно исчез, нигде не сообщили ей, куда он девался, жив или не жив.) Анастасия Ильинична всячески старалась поддерживать меня. Она и в лагерь мне посылала продуктовые посылки, хотя и от имени Татьяны Ильиничны. Ей сделали неправильную операцию в больнице, и она умерла. С той поры я перестал получать посылки.

И вот, имея такие редкостные деликатесы, я решил, пользуясь тем, что сижу в одиночке и некому донести на меня, начать тайную смертельную голодовку, умереть ленинградской блокадной смертью — от голода и утомления, для чего не только перестану есть, но и буду ходить до изнеможения.

С утра я и начал голодовку. Все принимал, даже добавочку, если девчонки предлагали. Хлеб делил на три части, в завтрак спускал в уборную одну треть, в обед вторую, в ужин третью.

Сначала решил и не пить, но вспомнил, что где-то читал: без воды у голодающих слипаются кишки, и смерть очень мучительна. Стал пить.

Проследить за мной было невозможно: и надзиратель, и разливальщица-раздатчица следовали от камеры к камере по всей галерке, а на обратном пути собирали миски,— они у меня всегда были чистехоньки. Говорят, первые дни голодовку переносят трудно. Я с первого дня голодал радостно, считая, что доставлю смертью служебные неприятности моим врагам.

Как раз в эти дни Кулаков придумал новый способ изнурения моего организма. Днем в тюрьме—я уже говорил—ни спать, ни лежать не разрешается. Кулаков вызывал меня поздно вечером, не давая лечь спать в положенное время. А в пять утра меня снова вели вниз, ставили около двери кабинета Кулакова и уходили. Я стоял в совершенно безлюдном помещении пять часов. Иногда не выдерживал и ложился на пол. Кулаков приходил в десять утра и осматривал все углы: ведь я мог не вытерпеть и обойтись без уборной. Но все было чисто: я ведь держал голодовку, и уборная была мне ни к чему. Между тем, за антисанитарию мне можно было бы дать карцер.

Удивительное состояние на пятый—шестой день голодовки: какая-то легкость, как бы невесомость, какие-то легкие прозрачные сны, совершенно ни на что не похожее самочувствие. Никаких страданий. Отрешенность. Запах пищи неприятен. Спускаю в уборную хлеб, суп, каши, я отворачивался, мне было противно. Я ведь вдобавок ходил. У меня остались от передачи яблоки и орехи. Чтобы не спутаться, я отсчитывал сто шагов и откладывал на постель орех. Когда накапливалось десять орехов, я заменял их одним яблоком. Это облегчало счет. Яблоком у меня было всего пять или шесть, и, когда их не хватало, я ставил палочки на стене. В первый день голодовки я находил 22 километра. На второй день смог отшагать всего 8 километров. А потом перестал ходить, ослаб.

Я ведь имел в виду — отчего умирали в блокаду ленинградцы: голод, холод и неизбежная ходьба на место работы. Холода у меня не было, но и без того дело шло успешно, мне важно было достичь необратимых явлений. Но я упустил из вида одно обстоятельство: баня!

Через семь дней меня повели в баню. Баней заведовали тоже женщины — воровки и вообще уголовницы, как более надежные, чем 58-я статья. В бане кабинки, в двери каждой круглое застекленное отверстие — следить, чтобы кто не покончил с собой. И вот я стою под душем и замечаю, что в оконце одна за другой заглядывают женщины. Я уже начал сердиться, но услышал возглас полушепотом: «Никогда не видала такого!» Это меня заинтересовало, и я стал ощупывать себя. Да, действительно, зрелище, вероятно, редкостное: пощупал руки — одни косточки, пощупал ноги — палки. Неужели это всего за семь дней? Если где-то еще и держится что-то, так это — на животе. Живот, оказывается,

худеет в самую последнюю очередь, по своим наблюдениям говорю.

Утром загремел замок, и вошел надзиратель.

— Снимите пиджак.

Снял.

— Снимите брюки.

Снял.

— Пошли. Не оглядываться.

Я шел и удивлялся: куда это меня.— раздетого? Может быть, так водят на расстрел? Не похоже. И тогда вел бы, наверное, не надзиратель... А впрочем, не знаю, меня два раза собирались расстрелять, но это давно, при колчаковском перевороте. Не знаю, я как-то безучастно шел и размышлял. И все-таки... я почему-то уверен, что французский, шведский ли тюремщик — шепнули бы, в чем тут дело. А это — манекен, античеловек. Он не соизволил слова молвить.

Оказывается — в карцер. Банщица донесла следователю, и вот за голодовку мне назначили пять суток карцера, а после недели голодовки порядочные люди отвели бы в больницу, а не в карцер. При таких обстоятельствах, как у меня, отправить полуживого человека, раздев его до белья, в карцер — это, собственно, пытка или замедленная смертная казнь.

Карцера три — № 1, № 2, № 3.

№ 1 — это темный цементный мешок. Темно. Цементные стены. Подслеповатое окно с замазанной рамой, все заляпанное грязью, забрызганное известью и с толстой решеткой. Так как погода стояла, видимо, холодная, то это окно было источником моих мучений. Из него дуло. Я дрожал, маялся, но молчал.

Открылась дверь. Докторша. Говорят, жена начальника тюрьмы. Довольно красивая, но даже женщиной не назовешь, просто элементарная дрянь. Ни человеческого слова, ни приказа — как врача хотя бы принести мою одежду, а главное — внутреннее равнодушие.

Принесли мою пайку хлеба, абсолютно недопеченного. А пекари, наверное, заключенные? Бедная страна!

Я мякишем промазал окно. Во-первых, все-таки движение. Во-вторых, стало меньше дуть. Корку отдал, когда принесли еще миску воды.

Ночью солдат — сторож при карцере — пожалел и перевел меня в карцер № 2. Там есть кран, вода и есть голый топчан, вернее, сбитые доски. На них лучше, чем на цементном полу, лежать.

Поздней ночью пришли два гепеушника. Я догадался, что пришли бить. Но переглянулись и поняли, что убьют первым же ударом, мой вид испугал их. Они приказали перевести меня обратно в № 1 и ушли. Опять не удалось им избить, я видел это по их разочарованным сытым мордам.

На третий день ночью солдат открыл дверь и попросил:

— Не я ведь поместил вас сюда. Пожалуйста, не кричите, душа надрыгается.

— А разве я кричал?

Вот это здорово, это меня удивило и напугало. Я не помнил, что кричал. Мне это не понравилось, что помимо моего сознания что-то происходило. Я сделал себе внушение. Ведь я принципиально не признаю боль. Что такое боль? Это сигнал организма о том, что что-то не в порядке. Но зачем мне сигнал, если я вижу, например, что замерзаю? Надо не кричать, а делать гимнастику. И я, лежа на полу, делаю «мосты», то есть выгибаюсь вверх, опираясь на голову и ноги.

Опять вбегает мой страж:

— Это вы чего? Греетесь? А я думал — уже помираете.

Утром я узнал: санитары ко мне приставили, будут насильно кормить, через шланг. И я прекратил голодовку, это был десятый день. Стал съедать «горбушку», то есть пайку хлеба, и пил горячую воду. По-моему, в нее что-то добавляли медицинское. Я подумал: не то что-нибудь подкрепляющее, не то хотят отравить. Сделал несколько глотков, чтобы согреться, остальное выплеснул.

В этот день у меня появились галлюцинации, что ли, даже не знаю, как это назвать. Я вставал перед голой стеной, и по моему желанию, а не сами по себе на стене появлялись движущиеся цветные изображения, вроде кино, пейзажи какие-то, люди — конечно, безмолвные. Когда я насмотрюсь, я как бы выключую эти картины. Дьяков наслушался рассказов о моих тюремных и лагерных переживаниях, да я ему и «заготовки» сделал — мною написанные эпизоды из лагерной жизни, но подаю я их как застенографированные мои рассказы, — и он всадил все это в свою книгу «Повесть о пережитом», пользуясь тем, что я все это отдал ему в полное распоряжение. Но там у него речь ведется от имени автора, и получилось, что это у Дьякова были галлюцинации, а где, почему, с какой стати — он не объясняет. Словом, использовал материал от себя, без ссылки на мое авторство. Я до поры до времени смолчал: мою книгу на эту тему пропустили бы или нет — неизвестно, а его прошла, я и рассудил, что пусть народ читает — это главное, а историки разберутся, да никому это и не интересно. Было? Было. А с кем было — это не так важно.

Итак, я выжил. Крепкий организм. Тогда Кулаков и Андреев придумали, а не упечь ли меня в психиатрическую.

Через пять дней подлинных мучений в карцере меня привели в большой зал. Посадили позади, а вдали — в том конце зала — сел следователь Кулаков и какой-то по виду приятный человек в штатском, в светло-сером костюме. Он и повел со мной разговор. Но он не учел, что я с юношеских лет интересовался медициной вообще, а психологией и психиатрией в особенности.

С первых слов я понял, что со мной разговаривает психиатр. Он пробовал сбить меня с толку и проверял, могу ли я логически мыслить. Тогда, пользуясь тем, что при враче Кулаков постесня-



ется безобразничать, кричать на меня, я громко и внятно сказал (а Кулаков только переменялся в лице, видно, что рассвирепел, но безмолвствовал):

— Доктор, хочу вас заверить, что я психически здоров. Но меня здесь мучают, пытаются и сейчас посадили в ледяной карцер в одном белье, да еще после семи дней моей необъявленной голодовки. А я не совершил никаких преступлений и более советский человек, чем мой следователь!

Тут Кулаков попытался все же что-то сказать, прервать меня, но психиатр сделал ему решительный знак, и тогда Кулаков крикнул конвою:

— Увести, куда я сказал!

Конвоиры доставили меня в комнату поблизости, в знаменитую «жарилку», я ее раньше не видел, но в Ленинграде о ней ходили легенды: рассказывали, что это камера, где нагнетают температуру чуть не до ста градусов, и там «выпаривают» из евреев золото, — кто покажет свой тайник или кубышку, того отпускают, отобрав ценности. Не знаю, насколько верны эти слухи, но вот я сам увидел пресловутую камеру, хотя у меня никогда не было кубышек.

, Видимо, у Кулакова этот трюк был задуман заранее: не замерз насмерть в карцере — авось лопнет сердце в жарилке. Я смотрел на множество пышущих жаром и шипящих труб больше с интересом, чем с опаской. У меня вообще какой-то вывих: во время ленинградской блокады, когда происходил где-то близко взрыв авиабомбы, я бросался не от окна, а к окну. Зато мне удавалось видеть и прямое попадание, и как, словно листья от ветра, катятся люди от взрывной волны. Особенно мне запомнился такой взрыв около Михайловского театра. А еще — прямое попадание в сторожиху-старушку возле Церкви на крови.

Итак, мы с конвоиром стоим в жаркой комнате, а надзиратель гремит ключами, отпирает камеру при жарилке. Все деловиты и безучастны — автоматы. Вдруг вбегает тот самый психиатр (а может быть, прокурор? Едва ли! Кто-нибудь из руководства? Для меня это остается загадкой) и начальнически кричит:

— Это что тут такое? Что вы делаете?

Солдаты смущенно отвечают, потупив глаза:

— Так ведь следователь приказал...

— Ничего подобного. Отведите ТОВАРИЩА в его камеру.

Насчет «товарища» он, конечно, обмолвился. А вслед мне добавил:

— Следствие у вас началось двенадцатого апреля. Сегодня двадцать второе мая. По закону на следствие отведено два месяца. Я проверю, прослежу за этим.

Со следующего дня Кулаков начал всю гнать «дело». Ежедневно (вернее, еженощно) вызывал, никаких матюков, но держал меня в коридоре часами, а сам писал, писал. Эти ночные бдения я переносил довольно легко, так как привык по ночам не спать, а работать. Зато днем меня просто валил сон, и я

больше всего страдал от невозможности выспаться. Ну, и слабость давала себя знать после голодовки. Вообще было какое-то тупое, апатичное состояние. Читать протоколы допросов я не мог, почти не разбирал текста. Я видел, что Кулаков понял это. Он молча тыкал пальцем, где надо подписывать. Воображаю, какая чушь там была! Но я подписывал. Из-за какой-то дурацкой фанаберии: мне было стыдно признаться, что у меня испортилось зрение. До тюрьмы я не пользовался очками, а в тюрьме — видимо, от всех переживаний — перестал различать написанное, не ослеп, но стал хуже видеть. Кроме того, зная неграмотность и слабые, умственные способности моего следователя, я вообще решил предоставить ему полную свободу. И рассуждал опять более чем наивно: рассчитывал, что суд, прочтя безграмотные, глупые протоколы Кулакова, сразу же поймет, что это дутое дело и следует наказать не меня, а преступников, которые хватают неповинных людей. Я так рассуждал, а суда-то вовсе не было, — опять мой просчет.

После моей реабилитации Кулакова сняли с работы. А много людей он загубил, вероятно. И ведь находилось МНОЖЕСТВО Кулаковых и Андреевых — вот что удивительно и ужасно!

14 июня меня перевели в обычную камеру. Там сидел один арестант, но в тот же день привели еще одного — из деревни, верзилу с огромным мешком сухарей. Он забрался на верхнюю нару и весь день молчал и грыз сухари. А первый, которого я застал в камере, был юркий, с пустыми глазами, прямо без грима иди на сцену на роль отрицательного персонажа.

Не понимаю, зачем пользуются такими круглыми дураками для работы так называемых «наседок». Я не со зла, а так, от скуки разыграл с ним незатейливую шутку. Он придумал глупейшую игру: будто этот верзила с сухарями — это и есть подсадка. Я поддержал его и стал с ним шептаться. Он сообщил, что скоро освободится, он чувствует это, и выйдет на свободу, — так не надо ли передать что секретное. Я ему сделал знак:

— Те-с! Этот, с сухарями, кажется, прислушивается...

Днем верзила уснул. Я увел этого чудика в сторонку:

— Слушай и запоминай. Записывать у конспираторов ничего не полагается, все держать в памяти.

— А если фамилии?

— Фамилии записывают на манишках, но у нас с тобой манишек нет. Можно записывать на подошве ноги, а в случае опасности отрубать ногу...

И он поверил такой ерунде!

— Ну уж нет! Это чересчур!

— Тогда запоминай. Пойдешь в Смольный...

— Ого!

— Спросишь, где найти Попкова...

— Попкова? Это я запомню, у меня жена Дьяконова — тоже церковная фамилия.

— Найдешь Попкова и расскажешь, что писателя Четверикова... Запомнишь? Четверикова, писателя. Посадили неповинно, мучают, навинчивают статьи, надо освободить.

— А как... освободить?

— Я думаю, устроят мне побег. Запекут в хлеб напильник, и я перепилю решетку.

— Так. Это я запомнил. Еще к кому пойти?

— Еще ко мне домой.

— Ага. Вот это здорово. Какой адрес?

Я сказал.

— И что передать?

— Поклон.

— И все?

— Это условный знак, они поймут.

Вечером мою наседку вызвали будто на допрос. И больше он не появлялся. Попало ему, наверно, изрядно. И мне его не жаль: не умеешь плавать — не лезь в глубокое место.

Но я не записал об одной истории, которую запомнил на всю жизнь и которая дала мне силы жить. Вернусь во времени чуточку назад.

Когда из «жарилки», куда меня собирались засадить по распоряжению Кулакова, я был приведен в мою камеру, можете представить, в каком состоянии я туда пришел. Ослабел до такой степени, что еле передвигал ноги. Зеркал в тюрьме не бывает, а хорошо, наверно, я был, страшен, и жизнь во мне едва теплилась, не зря же приставили к карцеру санитаря: ждали.

Кулаков обрадовался, узнав, что я вел тайную голодовку. Нарушение тюремного режима? Нарушение. Законно посадить в карцер? Законно. А если окочурится там арестант, за это никто не отвечает. Если умрет от разрыва сердца в «жарилке», тоже никто не несет ответственности, а санитар, сидящий у двери, тотчас составит акт и заставит подписать дежурного солдата, что такой-то, как выразился следователь Кулаков, «загнулся на законном основании».

Оказывается, за моей в сущности трагической историей наблюдала вся тюрьма. В тюрьме не дадут повеситься, успеют снять из петли, вынуть отходить. Но мой способ смерти удался бы, если бы не донесли банщицы. Вся тюрьма поняла это, как и то, что надо достаточно поработать над арестантом, чтобы привести к мысли умереть голодной смертью. Таких людей с сильным характером уважают. И я по некоторым признакам догадался, что вся тюрьма знает, жалеет меня, сочувствует и с ужасом ждет, чем все кончится. Знали все, и служащие и арестанты, что доктор из Военного трибунала не позволил записать меня в «жарилку», о которой в тюрьме шла худая молва. Знали все, что я ел живой вернулся в свою одиночную камеру.

У меня были продукты еще от давней передачи, но я боялся сразу после голодовки налегать на еду, помнил, как погиб Александр Мечиславович Свентицкий, съев в Кобоне — при эвакуа-

ции — порции свою, жены и дочери. Не дали мне умереть один раз, так второй раз и затевать не хотелось.

Спал я хорошо. Утром выдали завтрак, и я принялся за него.

Вдруг распахнулось оконце в двери:

— Горошницы хотите? — милый девчачий голос.

— Конечно!

Мелькнула женская рука, и я уже держал полную миску густой горошницы — гороховой каши. Видимо, девушка работала в кухне. Арестантка. Знала, как и вся тюрьма, мою историю и жалела меня. Похитила на кухне миску горошницы, сваренной «для себя»? Или дала ей сердобольная повариха? Примчалась на нашу галерку, пользуясь тем, что надзиратель занят раздачей завтрака. С какой поспешностью, вся трепеща от страха, открыла мое раздаточное окно. Сунула мне горошницу (может быть, свою долю?) и умчалась. Попадись она — лишилась бы работы на кухне. А то и в карцер могла угодить, или били бы...

Господи! Бывают же такие женщины! Я только слышал ее голосок и мельком видел милое перепуганное и в то же время озаренное, счастливое лицо. Еще видел ее мелькнувшую руку. Как бы я хотел встретить потом, на свободе эту добрую девушку. Какое там! Я знаю теперь точно, что ее, бедняжку, ждало там, в лагере. Знаю, как ее измывают солдаты, надзиратели — все, кому не лень. Видел я этих лагерных мучениц.

Ничего я не мог для нее сделать. Только благословлял ее, был обласкан ею, озарен ее женским сиянием. И спасен. Ведь я с того часа стал несокрушим.

Горошницу я с тех пор люблю до страсти, отношусь к ней с благоговением, неизменно всякий раз, поедая ее — с сырым репчатым луком и подсолнечным маслом, вспоминаю эту неизвестную милую сердцу моему арестантку. Нет! Если у нас есть такие люди, значит, мы сильны, а многовековая борьба Злобы и Доброты, совестливых и бесстыжих, людей и нелюдей обязательно кончится торжеством Добра и Человечности! Вот какие мысли и чувства вызвал во мне тогда этот пустяшный, казалось бы, случай.

Миску горошницы я распределил на два дня. И вообще стал быстро поправляться. Голодовка, карцер, попытка уморить меня в «жарилке» или упрятать в сумасшедший дом... И, как возвращенный рай, — моя сверкающая чистотой одиночная камера... И эта горошница, сыгравшая большую роль в моем психическом оздоровлении... А все вместе взятое — моя ожесточенная схватка с темными силами, из которой на этот раз я вышел победителем.

Начиная с 14 июня я навсегда расстался со следователем. Следствие было закончено, а я стал арестантом, ожидающим решения так называемого «особого совещания», где мне должны были заочно дать «срок». Но я не знал ни о каком «особом совещании» и с нетерпением ждал суда. Ждать пришлось, однако, долго. Суда вообще не было, а «особое совещание» не торопилось. Моя дальнейшая судьба решилась только в августе следую-

щего, 1946 года. До декабря 45-го я просидел на «Шпалерке», а потом еще 8 месяцев в Крестах.

Из камеры, где мне подсунили «наседку», меня вскоре перевели в огромную камеру, бывшую тюремную церковь «Шпалерки». Здесь вмещалось 50 человек, причем, когда я попал туда, нас оказалось, как я потом выяснил, 19 национальностей. И почему-то все эти 50 человек 19-ти национальностей сразу же выбрали меня своим старостой. Должность эта вот уж поистине выборная и, конечно, хлопотливая. Теперь общественные обязанности отвлекали меня от горьких дум и помогали скоротать время.

Например, бывали медицинские обходы всей тюрьмы. Дверь с грохотом открывалась, входила немолодая блондинка с перекошенной от ненависти физиономией — та самая, что «навестила» меня не так давно в карцере. Неужели она действительно была врачом? Думаю, что пристроилась на это место просто будучи женой начальника тюрьмы. За ней шла медсестра с подносом, на котором стояли какие-то пузырьки и коробочки.

Арестанты окружали пришедших, было приятно даже хотя бы постоять около женщины, видеть ее, а медсестра (или санитарка?) была милостива. Но врачаха не скрывала своей озлобленности, своего презрения к нам, мы были для нее не люди.

— Доктор, у меня кашель.

— Зинаида! Таблетку.

Медсестра давала таблетку.

— Доктор, у меня расстройство желудка.

— Зинаида! Таблетку.

Медсестра дает ту же таблетку, из той же коробочки.

— Доктор, у меня развалилась обувь, не могу на прогулку ходить.

— Зинаида! Таблетку.

Вмешиваюсь я как староста:

— Человек заявляет, что остался без обуви.

— Не по моей части. Все?

Идут к двери, исчезают. Все смотрят вслед медсестре. Я сажусь к столику и пишу заявление об обуви.

В тюрьме работала надзирательница, уцелевшая от царских времен. Она поджимала губы и говорила:

— Разве раньше ваш брат арестант так жил? Съесть не успевали, что жертвовали и присылали несчастненьким купчихи. Часть хлеба на квас пускали, а часть выбрасывали. То была жизнь!

При этих словах мне вспоминался лейтенант Шмидт с крейсера «Очаков» — персонаж из 1905 года. Как раз перед арестом я читал о нем книгу и, будучи в тюрьме, не раз перебирал в памяти эпизоды из нее. Потрясающая книга! (Не менее потрясающая история любви Петра Петровича Шмидта и Зинаиды Ивановны Ризберг, но речь сейчас не об этом.) Идет суд над Шмидтом, ждут приговора. А Зинаиде Ивановне ежедневно дают свидания — на гауптвахте, где содержится Шмидт. Кожаный диван, кожаные

кресла... Обедают все вместе: Зинаида Ивановна, сестра Шмидта Анна Петровна и Шмидт. На масленицу поданы... блины! Зинаида Ивановна подогревает их на спиртовке. Тут же для надзора сидит ротмистр, но на него даже не обращают внимания и говорят, что хотят... Приближается развязка. Зинаида Ивановна, выйдя от Шмидта, прислонилась к заборчику и плачет. И вдруг видит, что жандарм, сопровождавший ее на гауптвахту, тоже плачет!..

М-да. Я рассмотрелся на другое. Совсем на другое. И таким контрастом был тот мир, такой сказкой, так удивительно было вспоминать, что Кропоткин, сидя в Петропавловской крепости, жаловался, что его скверно кормят и приходится обеды заказывать из кухмистерской, а в камере не пройти от цветов, которыми его завалили курсистки...

Но и мы ничего, тоже жили. Пятьдесят индивидуумов в одном логове с нарами в два этажа.

Выяснилось, что в камере все нездешние, и передачи приносят мне одному. Я стал заказывать табак, хотя сам не курил, спички и папиросную бумагу — продавалась такая пачечками. И ввел за правило после обеда изготовлять по порции курева всем. Подходили и брали. Ни разу никто не взял два раза.

Помогал мне старший лейтенант. Он бежал из плена, и его сразу отправили в тюрьму. Он был в бешенстве, никак не мог простить этого вероломства. Ведь за границей, по его рассказам, были распространены призывы некоего генерала Голикова (не знаю, был ли такой или фамилия вымышленная), и в этих листовках русских пленных уговаривали вернуться: «Родина вас ждёт». Старший лейтенант постоянно твердил, что ему только бы добраться до лагеря — сразу совершит побег: «Пусть лучше пристрелят или погибну в тайге, но сидеть не буду!»

Этого обиженного, оскорбленного, приведенного в ярость человека я взял себе в помощники и с ним делил свои передачи пополам. Он был энергичен, привык командовать. Правда, командовал больше я.

Например, наступал час сна, а некоторые не могли угомониться и разговаривали, смеялись, спорили на разных языках. Я давал им минут пять на эту вольность. Потом приподнимался (я спал наверху, там было теплее) и говорил внятно, но спокойно, не как окрик:

— Спокойной ночи.

Мое пожелание сразу переводили для тех, кто не знал русского языка. А потом и переводить не требовалось — привыкли. Если и после этого кто-нибудь не унимался и мешал другим спать, — наказывался лишением закурки. Других наказаний не было.

Я чувствовал, что меня уважают. Порядок у нас при таком количестве людей был образцовый. Старший лейтенант сообщил мне, что начали спекулировать моим табаком, выменивать на хлеб, на сахар. Но что тут поделаешь? И я не стал в это вмешиваться.

Однажды мой сосед по нарам ночью пришел с допроса и разбудил меня:

— Борис Дмитриевич, как вы думаете, следовательно уговаривает меня сознаться, что я взорвал мост...

— А вы взорвали?

— Конечно, нет, какой там мост, я старый человек, больной, еле ноги волочу... Но он говорит, вам это ничего не стоит, вам все равно, а мне вы большую услугу окажете, даже повышение получите.

— Знаете, мост... это вам черт знает что наматывают... По-моему... я бы не согласился на такую штуковину. А почему именно мост?

— Я техник-строитель... значит, понимаю, что такое мост.

— Нет, дорогой, нельзя соглашаться. Другое дело, если там разговор, какой или анекдот... А с мостами шутки плохи. Вы согласитесь, а вас как раз и расстреляют.

Помню этот ночной разговор, шепотом, на верхних нарах... Старичок недолго был в нашей камере. Я так и не знаю, согласился он взять на себя этот мост или не согласился. А вообще-то зря я, наверное, его отговаривал: все опытные, бывалые арестанты в один голос советовали подписывать что угодно, важно как можно скорее выбраться из тюрьмы, если не хочешь умереть.

Часто меня просили писать жалобы, заявления. Какой-то поляк долго втолковывал мне, что произошло недоразумение: он «работал» в пользу Америки и Англии, это наши союзники — зачем же сажать его в тюрьму? Я терпеливо писал его аргументы и выслушивал других, кто хотел со мной поделиться. Один латыш все рассказывал мне, какое великолепие у него на родине. Я выпрашивал, что же у них такое хорошее. Он не мог объяснить и только твердил, что сало у них, сала много. Другой — кажется, литовец — путал слова «голубь» и «голубчик» и с грустью говорил, глядя в тюремное окно: «Голубчики летают...»

Оказывается, у этих людей шли споры насчет меня, и они наконец обратились с вопросом напрямиком ко мне:

— Мы тут никак не пойдем, какой вы нации. Француз? Бельгиец? Поляк?

— Я русский.

— Бросьте, разве мы не видим... Какой же это секрет, пожалуйста, скажите правду!

— Зачем же мне врать? Я чистейший русский, и родители русские, и предки.

И вдруг радостный возглас:

— А! Поняли! Вы ТОТ русский, из настоящих, прежних!

Дни шли. А я сидел да сидел. И как ни прятался, но тоска подкрадывалась, забирала. Я выяснил и на себе проверил: бывает тоска больничная, бывает тоска тюремная и бывает лагерная тоска. Все они разные и все трудно переносимые.

Прослышав, что желающих берут в рабочие камеры, я попросился туда. Пришел старший надзиратель с Красной Звездой на груди. Он же разносит передачи и всякий раз, молча, взгля-

дом, заимев согласие получателя, немножечко берет себе. Я всегда сам первый предлагаю, чтобы это не выглядело грабежом:

— Попробуйте, если что привлекло. Всем хочется полакомиться. Пожалуйста, не стесняйтесь, мне хватит.

— Спасибо,— отвечает он, что-нибудь пряча в карман.

И я считал это нормальным: все ведь голодные.

А тут он пришел, спросил меня:

— Зачем вам в рабочую камеру? У вас такие хорошие передачи.

— Знаете, скучаю очень, слишком долго сижу. Не могу без дела.

— Ясно,— понимающе сказал он с такой хорошей улыбкой.

В тот же день меня перевели в рабочую камеру, где было всего 8 человек, всё латыши, литовцы, эстонцы, один молоденький, тоже только что прибывший сюда — поляк. Мы с ним, с этим Казимиром, работая рядом, пели, польские мотивы мне показались знакомыми, и я быстро их освоил.

Все эти люди — католики, и мы, сложившись (они приберегли кусочки из тюремной пищи, я щедро выдал из передачи), отпраздновали Рождество по-католически. Кто-то из них сначала прочел вслух молитву, затем все с благочестивыми лицами стали — не есть, а вкушать.

Я записался в маляры, Казимир — тоже. Нам прислали книгу о малярном деле и инструктора, который требовал так красить стену, чтобы на пол не упало ни одной капли. Мы отремонтировали кухню, и там нам перепало что-нибудь от котла, главным образом, за наши концерты. Мы пели задорные польские песни. Казимир увлекался и заливался соловьем, а потом мы получали по миске какого-нибудь варева.

Посмотрев на нашу работу, инструктор решил поручить нам ремонт кабинета самого (!) начальника тюрьмы.

— Не подведите, братцы,— попросил инструктор.— Вам-то что, а у меня будут неприятности, если напартачите.

Но мы не напартачили, отремонтировали на славу, а этот чинуша-начальник не изволил ни разу даже взглянуть, как идет работа, не то что спасибо сказать. Что он, что его жена-докторша — оба на один манер: ни доброго слова, ни какой-нибудь хотя бы ерундовой поблажки. Для этой блондинки с холодными осуждающими глазами и перекошенным от злобы лицом мы все были преступниками. Но ведь и преступники — люди, можно и к ним относиться по-человечески, а нам еще и приговора не было объявлено.

Много плохих людей я повидал в тюрьме. Но там же находилась арестантка, тайком, с риском для себя принесшая мне, изголовавшемуся, миску горошницы, это может понять только сидящий в тюрьме. И этот, с орденом Красной Звезды,— тоже, видимо, ничего человечек. Были, были и там хорошие люди! Как и везде, впрочем. В лагере я тоже встречал много хороших людей.



Перейдя в рабочую камеру, я пользовался относительной свободой. Нас выпускали после завтрака, состоявшего из одного какого-нибудь незамысловатого блюда, и — кто шел малярить, кто слесарить, кто пилить дрова электрической пилой, которая отвратительно визжала и которая одному пыльщику отхватила палец, палец так и отлетел в сторону, — не знаю, умышленно это было сделано или нечаянно.

А я иногда лазил по всему тюремному двору, лазил по подвалам, видел там какие-то особенно жуткие камеры, сейчас пустующие. Если в них сажали — это страшная пытка, ведь в подвалах сырость, мерзость, кроме того, толстые стены, там кричи не кричи — никто не услышит. Но — повторяю — в тот период, когда я сидел здесь, подвальные камеры явно оставались без применения.

Зато я нашел в подвале огромную бочку. Тюремщики меня с любопытством спрашивали, что это такое в бочке, значит, все эту бочку видели. Она была полна чем-то похожим на загустевший мед. Я поковырял, понюхал — да это же мастика для натирания полов. Все обрадовались, тотчас пустили мастику в ход. Меня не поставили на это дело, а три-четыре человека из нашей камеры ходили натирать полы в тюремных помещениях, и я заглянул туда с ними и повидал клубный зал и тюремную стенгазету, где прохватаывали некоторых наших надзирателей — вроде одного гнусавого, который по утрам будил криком «Подъем!», а получалось у него «Пиджём!»

Вскоре мне вручили ключ от кладовой, где хранились краски, кисти, клей, известка и много другого. Видимо, работнички были настолько вороваты, что на меня, арестанта, надеялись больше. И я никому не позволял растаскивать материалы, брать что бы то ни было без специального разрешения. А если разрешение было, приходили за мной в камеру, я шел, выдавал по письменному указанию, что требовали, и снова запираю кладовку, сам возвращаясь под замок. Довольно курьезное положение.

Газеты в тюрьме были строго запрещены. Но мне по своей инициативе, без моей просьбы и без всякого вознаграждения ежедневно носил газеты один человек. Приносил свежую, а вчерашнюю забирал. Читать мне было трудно без очков, но легче почему-то, чем у следователя на допросах.

И все-таки мы попались. Кто-то что-то донес.

Внезапно пришли с обыском. Тряхнули наш стол, общий на восемь человек, — и на пол посыпались ножи. А нож в тюрьме — это такой же переполох, как найти в камере пушку или радиоприемник. Да еще тут не один нож, а восемь! Это ребята сами изготовили, ходя на работу (латыши, литовцы, эстонцы — народ хозяйственный), и сами ловко пронесли в камеру.

Я замер. Ведь я староста, я отвечаю...

Но делавшие обыск надзиратели онемели от изумления. Все-таки отвечал не я, а они.

— Это что? — почти шепотом спросил один из них.

— Ножи,— спокойно, даже несколько бравируя и разыгрывая недоумение, ответил я.— А вы разве обходитесь без ножей? Мы никого ими не пьряли, мы резали хлеб. . .

Тем временем второй надзиратель полез в бачок уборной, а там, опущенная в воду, лежала настоящая бритва.

— А это что? — ткнул он мне бритвой в нос.

— Это бритва,— так же спокойно ответил я.— Чтобы бриться, а не ходить бородатыми чучелами.

Но ни ножи, ни бритва, ни найденные еще часы и открывалка для консервов — ничто так не поразило надзирателей, как еще одна находка: они отвернули матрац у моего ложа — там лежала газета. . . Посмотрели — не старая ли? Нет! Сегодняшняя! Тут они и обыск бросили, по очереди разглядывая газету, и дар речи потеряли. Сгребли всю добычу. Ушли.

Через полчаса приходят за мной. Ну, думаю, упекут в карцер вместе с ключами от кладовой. Нет, увели в пустую комнату, придвинулись ко мне и — шепотом, вытаращив глаза:

— Кто? Кто принес?

— Ну, что вы, кто же принесет,— выдерживал я прежний тон.— Просто мы ремонтировали камеры, иду я по коридору, глянул — газета, кто-то из следователей прочитал, видимо, и бросил. А может, из вас кто? Ну, думаю, надо почитать, что на свете делается. Ведь не прокламация? Наша советская газета, не какая-нибудь запрещенная?

Я видел, что допрашивающий в восторге, слушая, как я гладко вру. Главное, и он, и я знаем, что мы сегодня ничего не ремонтировали, а вчера я не мог случайно найти сегодняшнюю газету. Но если не вникать? Можно именно так доложить начальству. И допрашивающий меня, видать веселый дядя, вдруг прыснул от смеха:

— Ладно, так и запишем.

Между прочим, тем, что я не сказал, кто мне носил газеты, я вызвал уважительное отношение всего младшего персонала тюрьмы. Это им нравилось и было удивительно, хотя, кажется, вполне естественно, если мало-мальски порядочный человек не сделал подлости по отношению к доброму, благородному порыву, не выдал того, кто рискнул удружить ему в той обстановке, которая была в те страшные годы.

Никаких наказаний после этого обыска не последовало. Как я понял потом, тюрьме было недо нас: находились уже в пути в арестантских вагонах тысячи власовцев, сотни перебежчиков и лакеев, прислуживавших гитлеровцам во время оккупации, тюрьму надо было срочно освободить. Нас распахивали пока что кого куда. Я, например, попал на несколько дней опять в одиночную камеру, но с окошком без козырька, видимо, давно пустовавшую. Судьбе было угодно, чтобы я получил на «Шпалерке» впечатления дополнительно к имевшимся.

Во-первых, моя камера оказалась где-то поблизости от кабинета следователя, допрашивавшего женщин. Я забыл обо всех

своих болях и горестях, настолько был потрясен услышанным, хотя, кажется, уже и так повидал немало. Мощный баритон следователя гремел так, что дрожали стекла в окнах камер. Следователь выкрикивал женщине самые похабные слова, оскорблял ее, насколько у него хватало его скудного ума, всячески старался оглушить ее именно похабством, выбирая из своего лексикона самые отборные гадости, называя всеми словами женское устройство допрашиваемой. Изредка между изрыгаемыми следователем непечатными выражениями слышался робкий женский голос. Но ее слова я не разбирал. А у следователя слышал все, как ни затыкал уши.

Я не мог в тот день успокоиться, я думал о поправном правосудии, о застенках палачей. Мне было стыдно за эпоху, за страну, за свой город. А еще — стыдно за всех мужчин. Да разве это мужчина, это скот, это орангутанг, это чудище. Неужели он, вот так «поработав», вернется домой, посадит на колени дочурку и скажет жене: «Милая, налей мне супу»? А ему бы не супу, ему бы петлю на шею и выбить скамеечку из-под ног!

Во-вторых, мое оконце выходило в тюремный двор, и я видел, как привезли на кухню «продукты» — полную машину не то кожуры и очистков, не то сорняка с прополки, и все это перемешано с землей, просто с мусором. Я не мог оторвать глаз от этой разгружаемой во дворе машины. Такой груз везут на свалку, а тут, оказывается, он пригодился для нашего пропитания.

Это были последние дни моего восьмимесячного пребывания в ДПЗ на Шпалерной. Я нечаянно уловил слово «административники». Это мы были «административники», а что это означало, я не знал. Не знал и того, что впереди у меня столько же месяцев сидения в Крестах. «Особое совещание», видимо, зашилось, образовалась огромная очередь на вынесение приговора, хотя вряд ли на каждый приговор там тратили больше десяти минут.

Пришел и наш черед покинуть «Шпалерку». Как-то вечером, в сумерках, подали к тюрьме автобус с надписью на боках: «Хлеб». Оказалось, что это для нас, «административников». Вывели толпу арестантов, в том числе и меня. Влезали в нуτρο один за другим, и все это в потемках. Автобус переполнен, а я еще не сел. Солдаты бросили во тьму мой чемоданчик, затем схватили поперек тела меня и, как бревно грузят, зашвырнули головой вперед прямо на всех. Кто-то застонал, кого-то я ушиб, придавил. Я в темноту слал извинения.

И мы поехали. Было полное молчание. Сначала привезли нас в Четвертую женскую тюрьму — не приняли. Оказывается, в Ленинграде было тогда 12 тюрем, в том числе действовала и Петропавловка, я встречал людей, которые сидели там. Долго возили нас по городу, везде все переполнено. Приняли наконец исторически известные Кресты.

Может быть, здесь и не к месту, но хочу поделиться своими раздумьями. Разбирался я в сути экономической реформы

1967 года, и вот куда вдруг скакнула у меня мысль. Мне всегда хотелось знать, зачем понадобилось Сталину терроризировать население, сажать без разбору правого и виноватого. Ну, понятно, если Сталин, как говорят, был болен психически и всех подозревал, всех боялся. Понятна и вторая причина террора: борьба за власть, из-за которой полетели головы многих и многих начиная с Фрунзе и Котовского, и «старых большевиков», и Кирова, и Крупской, и так далее — вплоть до Тухачевского, Блюхера, Егорова... Но был в этом злодейском замысле один парадоксальный нюанс. Да, истребила сталинско-бериевская мясорубка миллионы русских людей и немало советских людей других национальностей (только украинцев и белорусов я не считаю «другими национальностями» при всех их «цукерах» и «дякуях»). Если говорить об основной массе, попавшей в лагерь, то гибла там в первую очередь интеллигенция. Профессора, ученые мерли там тысячами. А вот, например, шоферы, или медицинские работники, или строители, инженеры — на них и там был спрос, им создавали более сносные условия. Что касается мастеровых, простолюдинов — им не привыкать было голодать, и если в лагере положено было расходовать на каждого из них (на питание, одежду, жилище и все остальное, вплоть до «деревянного бушлата», то есть гроба) — я слышал, что по 13 копеек, а Г. А. Голубев, живущий в нашем доме, говорит, что по 17 копеек, он, наверное, лучше знает, так как работал в этой системе, — то им казалось, что ничего, жить можно. А когда стали молодых и здоровых ставить на разные работы: на прокладку железных дорог, лесоповал, добычу угля, — там и еды давали больше. Образовалось огромное количество дешевой рабочей силы: 13—17 копеек в сутки, ну и добавки, чтобы рабочие сохранили мускулы. Прикинул я все это — и вдруг мне стала ясна вся суть сталинского адского плана: построить социализм руками арестантов. Так что решающим моментом тут все-таки является экономическая первооснова, хотя и политическая важна и множество других.

Вспомнился мне Френкель, который предложил правительству, если его выпустят, наладить на Соловецких островах в лагере для политических заключенных рентабельные мастерские с использованием дешевого подневольного труда. А кроме Соловков? Второй путь Сибирской магистрали, железная дорога до мыса Находка и Печорская железная дорога, новые города, лесозаготовки на Печоре, уголь Воркуты, золото на Колыме, Беломорский канал, слюда под Тайшетом, апатиты... Все это строилось, осваивалось, добывалось на горбу и костях нашего брата, политзаключенных. Работать мы шли охотно: работа избавляла от лагерной тоски и давала достаточное для неприхотливого человека довольствие.

Одновременно с использованием труда рабов в лагерях Сталин добился шока всего народа и покорной напряженной работы всех при малых издержках на содержание тружеников: до 1934 года страна жила по продовольственным карточкам, хотя прошло 17 лет со времени Октябрьского переворота и 13 лет со времени оконча-

ния гражданской войны. Чем больше строили, тем тяжелей жилось человеку, тем больше его обделяли и обездоливали, давая нищенскую зарплату. Это давало государству огромные средства. Вот в чем корень всего. А пока я не разобрался, не понял это, мне казался диким, бессмысленным этот террор.

Когда Гитлер сумел одурачить немецкий народ и при попустительстве, если не поддержке, многих стран обрушил 50 отборных дивизий на нашу страну, все мобилизации не коснулись вначале многомиллионного лагерного населения. Образовался как бы резерв, откуда и поступало в дальнейшем свежее пополнение в армию. Псевдо-преступники — миллионы оказавшихся за колючей проволокой — все просились на фронт. И брали. Например, шоферов. Частично и военных, уцелевших от разгрома, от фальсифицированных судебных процессов. Эта армия, плюс беззаветное служение родине наших женщин, (тыл голодал, но работал сверх человеческих сил, женщины были вовлечены во все работы — от пахоты взамен коня на себе до изготовления снарядов, от функций санитарок до деятельности снайперов и разведчиц) — вот где решалась судьба фашистского похода Германии в 1941—1945 годах. Гитлер удивлялся: появляются нового типа русские танки, заработали русские «катюши»... В глубине Уральского края, в необъятной Сибири, как по чудесному мановению, возникло огромное государство в государстве — со своей нефтью, даже со своими кадрами... И тут никакая вражеская разведка не могла ничего разведать, никакие Гудерианы и Браухичи не могли совладать. Это чрезвычайно любопытное явление в ходе Отечественной войны. Но сколько страданий, смертей в этом царстве лагерей, какая безумная растрата ресурсов, дарований за 30 лет сталинщины!

Однако вернусь к своим собственным злоключениям. Я остановился на том, что нас привезли в Кресты.

Мы с трудом вылезли из «хлебовозки» — ноги и руки онемели, да и замерзли мы. Опомнились уже в камере, сбились в кучу, стоим. Оказывается, в одиночную камеру — шесть шагов в длину, три в ширину — нас втолкали 19 человек.

Внушительный ли мой вид был причиной или популярность моя на «Шпалерке», но среди этих стиснутых в кучу людей я услышал возгласы, что они выбирают старостой меня. Это почетно, выбирают в старосты сами арестанты, обязанности старосты многочисленны, выгоды, конечно, никакой. Меня во всех камерах, во всех лагерных бараках, где я побывал, выбирали старостой, я даже привлек к этому впоследствии.

— Так выбираете? — спросил я. — Имейте в виду, я строгий.

— Да чего там, — раздался голоса. — Выбираем, значит, выбираем.

— Хор-рошо, — отозвался я. — Тогда слушайте первую команду: выбивайте окно, к едреной бабушке! Не выбьем — сдохнем, на девятнадцать человек воздуха не хватит.

Пауза. Заминка. Потом кто-то отчаянно двинул в раму старинной, уже прогнившей тюрьмы (она построена в 1893 году вблизи Финляндского вокзала на Полюстровской набережной). Гнилая рама окна вместе с «козырьком» с грохотом полетела вниз. В Крестах даже за громкий разговор уводили вниз, где находятся карцеры, и били. А тут — высадили раму в зимнюю пору — и тюремщики сделали вид, что ничего не заметили. Вероятно, надзиратель слышал мою команду и доложил по начальству, а начальство признало мое решение справедливым? Ну, а что простудятся — на этот предмет есть тюремная больница, пожалуйста, простужайтесь!

Второе мое действие как старосты: выбрал поинтеллигентнее комиссию и поручил ей измерить камеру и найти способ разместить 19 человек на полу, чтобы, хотя и впритирку, но все лежали. Комиссия поняла все значение порученного ей дела. В камере стояли два припаянных голых остова кроватей. Учили площадку под ними. Старались сохранить площадку возле параши. Не знаю, как теперь, но тогда в камерах ставили параши. На каждую галерею была одна современная уборная, туда надзиратель водил всю камеру и кричал на нас, чтобы мы поторапливались. А то и выталкивал, если кто замешкается. Парашей пользовались только в крайнем случае.

Так как из выбитого по моему распоряжению окна дуло, то я и выбрал себе место именно здесь, под ним. И вот все легли. Каждый должен был запомнить свое место. Бывало, конечно, что кто-нибудь поспорит из-за тесноты. Но все же как-никак, а какая-то жизнь была налажена, и это чудо.

Выяснилось, что Кресты — сплошной клоповник. А в камере у нас был бежавший из плена совсем еще мальчик Борис Чайковский. (Я все думаю: композитор Борис Чайковский — не он ли? А справиться не дошли руки.) Его сразу же назначили надзиратели своим помощником. Он таскал бачки с кашей, кипяток в ведрах. И я ему объявил:

— Боря, как хочешь ловчи, но обеспечивай для нас каждое утро два—три ведра кипятку.

Он свято выполнял это.

И вот — утро, побудка. Я загоняю всех в угол у двери.

— Быстро! По одному подходите к окну и делайте зарядку! Начнем с тебя, Боря, пока не вызвали разносить завтрак. Дыши глубже!

Некоторые ворчали, отказывались, но у меня не отвертисься, и каждый махал руками, приседал, глотая свежий воздух, струившийся из окна. Затем все опять сгруживались у двери, а два добровольца кипятком ошпаривали стены, особенно углы, и пол. Я пожертвовал на тряпки летние спортивные брюки и рубашку. Ими вытирали пол начисто, тряпки выжимали над парашей. А тут приносили и завтрак.

Клопов у нас не стало. Ни одного. Это очень важно для здоровья, для самочувствия. Однажды к нам попал человек из дру-

гой камеры, так утром он завопил даже не в восторге, а в каком-то мистическом ужасе:

— Братцы, я не тово? Не спятил? У вас же тут нет клопов! Что же это такое? Особая какая-то камера? Я был в одиночке, клопы меня там буквально жрали! Я стал спать посреди камеры, а вокруг себя поливал водой. Так они, проклятые, лезли на потолок и оттуда падали на меня!

Заметив, что днем охватывает людей тоска, я стал придумывать им занятия. В моих передачах всякий раз был черный хлеб и какой-нибудь батон. Этого мне хватало на неделю, до следующей передачи, а тюремную пайку я кому-нибудь отдавал. Но две-три пайки удержал, отдал только корки, а из мякиша — целый день трудился — вылепил шахматы. Самой трудной фигурой был конь, ведь надо было думать и о прочности. Покрасил шахматы, как блатные что-нибудь красят: зубной порошок использовал для белых фигур, а черные изготовил, накопив на доньшке миски сажи. В одной из передач была коробка с печеньем, — так дно коробки пригодилось для шахматной доски. Высохли фигуры, и в камере появился шахматный кружок.

В комиссии, которой я поручил разместить людей так, чтобы все лежали, чтобы все могли спать, были инженер (он-то и выполнял в основном это задание), регент из Киева и переводчик с английского Шадрин, который сейчас живет в Ленинграде на Звездной улице, состоит в Союзе писателей. Так как мне в передачах присылали папиросные бумажки для табака, а карандаш я достал, создались условия, и я стал брать уроки английского языка у Алексея Матвеевича. А заметив, что один паренек все время мурлычет себе под нос какие-то мотивы, я подумал, что регент есть, певцы найдутся — надо создать хор.

Как я уже говорил, в Крестах даже разговаривать громко не разрешается. Мы — девятнадцать «административников» — помещались в камере № 783 на четвертом этаже, но акустика в Крестах великолепная, и у нас был слышен каждый удар, когда кого-нибудь внизу, в карцерах, били. И все-таки мы рискнули. Сначала пели очень тихо, вполголоса. Затем осмелели и стали петь громче. Хор образовался отличный, регент был доволен. Обнаружился великолепный тенор у того как раз парнишки, который постоянно мурлыкал себе под нос. Среди нас были украинцы, а украинцы любят петь. Я научил их русским песням — и про Ермака, и про степь, и «Из-за острова на стрежень», даже «Сижу за решеткой в темнице сырой». Они меня научили украинским, да я и украинских много знал, дома мы всегда пели, и мама была певунья, а теперь я разучил «Садок вишневый коло хаты, хрущи над вишнями гудут» и, конечно, «Огирочки», у которых есть два разных мотива. Незъяснимое наслаждение — хорошее пение. Великое счастье — уметь петь. Песня! Это — благо, подаренное людям, петухам, соловьям и синицам.

Мы и сами не понимали, чего это на нас не прикрикнут. Но раз ничего, значит ничего. А как-то были заняты чем-то и

не пели дня два подряд. И вдруг открылась в двери «кормушка», и надзиратель крикнул:

— Чего не поете-то?

Подумать только, оказывается, все эти угрюмые тюремщики, заскорузлые люди, собирались у нашей двери, как на концерт! И слушали. Значит, и у них была душа?!

Ну, мы, конечно, рады стараться: через пять минут уже заливался первый голос, вдесятеро усиливала его втора, и обрамляли, делали песню величавей сочные басы. Но вот концерт окончен, репертуар исчерпан. И тут вдруг открывается железная дверь камеры и вкатывается к нам бачок с кашей — премия хористам.

Невероятная история не только для Крестов, но и для тюрем всех стран и столетий! И это было, это было в действительности, примерно в январе 1946 года.

Вообще камера № 783 стала известной во всей тюрьме, вернее, в первом корпусе Крестов, построенных крестом, что делало по замыслу тех, кто сооружал тюрьму, совершенно изолированными все камеры. Внутри же камеры сходились к огромному кругу, построенному из железа. Галерки тоже были железные, а между ними была натянута железная сетка — после того как произошло несколько самоубийств. В те годы Кресты были наполнены сплошь уголовниками. Нас поселили временно, до получения срока.

В окно у нас (если вскарабкаться) видна была Полюстровская набережная и Нева, а на том берегу среди корпусов и деревьев вырисовывался Таврический дворец. Как тут не соблазниться и не нарисовать этот пейзаж? Красок нет, полотна нет. Но есть стена, тюремная стена нашей камеры. И я рисую на стене. Черную краску легко получить — копать. Белая — зубной порошок. В передачах мне присылали зеленый лук и клюкву. Значит, есть чем нарисовать деревья и траву, а клюква позволила изобразить небесную зарю. В камере несколько не удивились, что я рисую. Они считали, что я все могу, как фокусник и чародей. Кое-кто влезал к окну и сверял точность. Картина была метр в длину, полметра в высоту.

Рисуя, я представлял, какой мне учинят разгром за мои художества. Но, как ни странно, и тут — ни слова. Как будто никакой картины нет. Наверное, тоже плата за наше пение? И только по всему корпусу прошла весть, что появился в тюрьме художник. Или надзиратели разнесли эту весть, или Борис Чайковский?

С уголовниками надзиратели старались ладить. И ко мне через надзирателей стали поступать карандаши и бумага: мне заказывали — конечно, бесплатно — рисунки для наколок на коже. Я рисовал цветы, ветки, карты, нож (по-блатному — мессер, перо), птиц, чертей, ангелов, сердце, пронзенное стрелой. Делать наколки очень болезненно, но делают. За годы моих вынужденных странствий я сам видел разрисованных сверху донизу мальчишек. Рассказывали мне, что у одной воровки наколота под грудями надпись: «Умру за горячую...» — тут я опускаю слово, которое



в народе произносят запросто. Часто выжигают афоризмы. Наколот, например, рисунок: карты, бутылка вина, голая женщина. И снизу надпись: «Вот что губит человека». Нарисованного мною Демона, летящего по звездному небу, я имел удовольствие собственноручно лицезреть в бане на груди солидного бандюги. Ничего получилось. Эффектно. Я остался доволен работой накольщика, ведь рисунок довольно сложный. Поллюбовавшись, я и не подумал сказать, что это сделано по моему рисунку. Ведь народная мудрость гласит: «Не берись за дело на выхвалку».

Что еще запомнилось мне о Крестах?

Один из сменных надзирателей на нашей галерке был узбек. Он получил из дома письмо или телеграмму с известием, что у него умер отец. Однако начальство не отпустило его на похороны. (Может быть, не поверили телеграмме? Посчитали уловкой, чтобы повидаться со своими родственниками, побывать дома?) Узбек кричал, что, если его не отпустят, он откажется бить заключенных. Но ему все равно не дали отпуска.

Передавая от меня рисунки блатной бражке, он соблазнился и тоже сделал себе на руке наколку, выбрав из моих сюжетов скромный цветочек. Не знаю, умышленно ему сделали наколку неосторожно или так уж получилось, но рука у него долго не заживала.

Затем — новое приключение: он получил от какой-то красотки любовное письмо, а сам еле-еле может нацарапать свою фамилию — совсем неграмотен и неучен. Выручил я, написав ему как бы от него ответ этой корреспондентке. Он послал сочиненное мною вдохновенное любовное послание. Последовал ответ. И я, по старой памяти, вел эту любовную переписку, так сказать, до победного конца. Опыт у меня был: еще в гимназии на моей парте было «любовное бюро», и я любому гимназисту брался писать нежные и страстные послания — разумеется, совершенно бесплатно и бескорыстно, коммерции никогда не было во всех моих затеях такого рода.

И вот Боря Чайковский сообщил мне, что я понравился тюремным надзирателям и они спрашивают, не надо ли для меня чего-нибудь сделать. Я растерялся. Что я могу попросить? Мне рассказывали, что в Крестах выпустили человека за 30 тысяч. Но, во-первых, у меня не было 30-ти тысяч. Во-вторых, если бы меня поместили в совершенно не охраняемую, с распахнутыми настежь дверями тюрьму, я бы и шагу не сделал, чтобы уйти, — из самолюбия: находите нужным держать не повинного ни в чем человека — ладно, держите, черт бы вас побрал, не давайте мне работать по специальности писателя, коли не нужны вам мои книги!

Приблизительно так я рассуждал в те годы, и, конечно, неправильно. Тем, кто меня упрятал в тюрьму, безусловно, ни к чему были мои книги (хотя Друзин мне рассказывал, когда я вернулся в Ленинград, что Сталин выражал недоумение, почему моя — в соавторстве с Груздевым — пьеса «Вороний камень» не пред-

ставлена на Сталинскую премию). Но это не значит, что вообще мои книги не нужны. Только сознание, что я как писатель делаю нужное дело, поддерживает мои силы, мое жизнеутверждение. Я и сейчас мог бы быть полезен — хотя бы житейским опытом, знанием человеческой психики и знанием ухваток врага. Жаль, что я уже сдан в архив. Впрочем, мое дело вообще стороннее, как, видимо, считают некоторые наши деятели. «Литературная газета», например, все эти двадцать с лишним лет по возвращении в Ленинград меня не печатает, это проверено мною в ряде попыток.

Но это к слову.

Все же предложение надзирателей меня затронуло, растрогало. Что бы такое придумать? О чем попросить?

И тут я вспомнил: приближалось 2 июля 1946 года — мое пятидесятилетие. Я дал денег через Чайковского и заказал принести мне бутылку водки. Надзиратель принес. Меня и Чайковского вызвали из камеры, я захватил чего-то из передачи, чтобы закусить. Мы ушли вдвоем в умывалку. Надзиратель произнес великолепный тост: «Дай вам бог хорошей жизни, освобождения — как стоящему человеку». Им я налил по полной кружке, сам тоже сделал глоток, чтобы по-настоящему участвовать в этом своеобразном банкете. И надзиратель снова отвел нас в камеру.

Так и исполнилось мне пятьдесят лет. И я был счастлив оказанным мне вниманием. И кем — человеком с загубленной, казалось бы, душой, злобным цербером, бездушным тюремщиком легко приспособившимся к страшному бесчеловечному режиму тридцатых—сороковых годов.

Так умиленно я размышлял об этом. И действительно, любезность тюремщика, который помог отметить мой пятидесятилетний юбилей, была трогательна. Но вторая моя просьба окончилась неудачей: я попросил надзирателей сходить ко мне домой с моей — самой невинной, конечно, — запиской, где я просто послал привет и хвастался, как ко мне хорошо относятся мои стражи. Дома у меня шла попойка, пропивала проданные в Лавку писателей письма Достоевской, Достоевского, Некрасова. В этом разгуле, кроме прежних двух агентов, принял участие генерал Деревянко, обещавший этой веселой компании «поместить меня где-нибудь под Ленинградом, что в его компетенции» — это мне сообщила моя экс-супруга в записке, запеченной в булке и переданной мне в тюрьму в передаче (экзотика!). Деревянко недавно умер, так что моя запись ему не повредит. Никуда он меня не устраивал и не думал даже, а мне это совершенно было не нужно. Надзиратели пришли, их там угостили водкой и зачем-то — что я мог в тюрьме с ней делать? — послали мне с ними сторубливку, о чем я узнал впоследствии из той же записки. Пять дней надзиратели пропивали эти деньги, явились к начальству с повинной, отсидели на гауптвахте за прогул, мне больше не показывались: Ермол и не виноват, да нельзя миновать, как говорят в народе.

А вообще... размышляя о страшном времени, которое я задумал описать в этой (или этих — не знаю, сколько успею) синей тетради, вспоминаю старика Ключевского: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание ее уроков». Ну, что, например, взять с этих надзирателей, пропивших мою сторублевку? А кто они такие, эти надзиратели? Простые русские мужики. Противно, обидно, горько, но надо признать: эстонец, швед, англичанин, француз при таких же обстоятельствах — увы! — честно бы доставили, я думаю, сторублевку по назначению. Как это понимать? А понимать надо так, что давно уже идет работа не только по истреблению, искоренению, но и по растлению нашего народа, и она дает свои печальные плоды... А еще я полагаю, что надзирателей поразила сумма. Десять рублей они, пожалуй, принесли бы мне в целости и сохранности, а против ста рублей не могли устоять. Я не сержусь на этих недочеловеков, позарившихся на деньги несчастного арестанта, который сумел победить их сердца, но не на такую сумму, как сторублевка. Гораздо больше бесстыдства у той компании, куда они ходили: ведь они пропивали деньги, вырученные за продажу святой, как ни говорите, вещи: пачку писем своего деда, писателя Аверкиева, принес мне Жуков, уходя на фронт, на Карельский полуостров, на свою смертушку.

Белинский писал: «Человеческая личность не должна быть принесена в жертву ближним или дальним целям истории, какими бы влекущими они ни были». Между тем во всей суматохе XX века мы напрочно забыли о человеке. Схемы, проекты — одни неглупые, другие нелепые — настолько овладели строителями «новой жизни», что позабыли они, для кого строят эту новую жизнь.

Старые кадры русской интеллигенции или истреблены, или умерли сами, так как вышли сроки. Новая интеллигенция в нашей стране формируется заново, то есть выходит из первоисточника — из народа. Деревня переселяется в город. Страна становится индустриальной. Поколения сменились начисто. Не только дореволюционные учителя, но и сыновья этих учителей исчезли. В профессуре, в академиках — всюду, где ни посмотри, от прежних кадров остались отдельные редкие единицы, да и то это престарелые, — иконы, а не люди. Но ведь получить высшее образование — на это требуется, вместе со средним,  $10 + 5 = 15$  лет. Разруха, гражданская война затормозили выращивание новых кадров образованных людей. Война истребила потрясающе огромные массы молодежи, мужчин, дав крен в сторону нетрудоспособных возрастов. Появление скороспелых учителей, «красных профессоров», как их называли, появление не шибко образованных преподавателей и чертовски не подготовленных к принятию знаний крестьянских, рабочих парней — все это повлияло на следующие поколения.

Но ведь получить высшее образование — это не все, это еще

не значит стать интеллигентным человеком. Не хватает еще воспитания, недостает тех знаний, которые усваиваются в самом раннем детстве, в атмосфере культурных навыков, знаний, кругозора, поведения — всего облика интеллигентной семьи. Жесткие сроки учебы, превышающее разумное соотношение внедрение социалистических научно-философских наук, всевозможных «инстпартов», которые студенчество клянет и отвергает (это, кстати, приводит к обратным результатам, чем те, которых хотелось бы достигнуть, а именно — легкомысленному, глумливому отношению студентов к политическому просвещению). Далее — жесткая перегрузка всех наших врачей, педагогов, инженеров, как только они заканчивают учебу. Они так перегружены работой, что у них не остается времени на совершенствование, на чтение, на семью, на воспитание своих детей, на общение с товарищами по работе, даже на общение со своей женой, тоже перегруженной работой, тоже загнанной, тоже не имеющей времени заняться воспитанием детей. Между тем, кроме пройденного курса, за плечами-то ничего нет. Копнитесь, — а эти «специалисты» не читали ни классиков наших, ни современных писателей, не знают ничего ни о музыке, ни о живописи, ни о науке, не входящей в сферу их непосредственной деятельности.

Этим людям хочется пожить интересной, полной всевозможных впечатлений жизнью. Но им некогда даже подумать. Прибегают — ошалелые, измотанные — домой после службы, наскоро едят — и спать, чтобы урвать хотя бы 7 часов отдыха. В воскресенье стараются вырваться за город или побывать в кино, в театре. Ни на что не остается времени. Некогда жить. А ведь сверх того — хочется пожить удобно, благоустроенно. И вот начинается погоня за отдельной квартирой, за хорошей обстановкой, за собственной машиной, за собственной дачей. А это достигается и жесточайшей на всем экономией, и поисками дополнительных заработков: там совместительство, здесь консультация, или же лекция, или же сверхурочные...

И вот я наблюдаю, КАК эти люди живут, чем дышат. Иногда они даже не знают, КАК надо хорошо жить, что такое «хорошо жить». Прислушиваются, выскивают советы, вызнают моды, стараются быть вполне современными, мучаются, изъязв у себя в квартире кровати и заменив их складными диванами, теряются в потоках новых книг, новых имен... Достигнув и звания, и положения, и материальных достатков, оказываются в беспомощном положении.

Почему? Нет культуры — вот что главное, нет широкой образованности, глубокого ума, принципиальности. Все это — скоропелки. Недоделанные. Все это продукт нашего времени: ломки, неустойчивости, догматизма, запугивания, стандарта, так и прущего в нашу жизнь.

Интеллигенция — это человеческое общество будущего, того будущего, которое всегда в будущем. Интеллигенция — это десятилетиями и десятилетиями вызревающая порода людей. Русская

интеллигенция — это та, что разбрасывала листовки, терпеливо сколачивала группы сознательных рабочих, а затем мерла в тюрьмах, шла на каторгу, шла в манифестациях в 1917 году, шла в командные кадры Красной Армии, а при Сталине шла — эшелонами, эшелонами — в лагерь...

Полагая, что на людей-то Россия-матушка никогда не оскудеет, крошили в крошево, тысячами, тысячами, а потом и миллионами. И еще одно поветрие: лучших, отборных, самых молодых, сильных, здоровых мужчин угоняли из их жилищ, оставляя там в одиночестве женщин-вдов, женщин-невест. Мужчины, юноши томилась в отдельных загонах-лагерях, женщины доходили до иступления в других загонах-лагерях. Мало того, что и те, и другие гибли от тоски, от голода, от нездоровых условий жизни, от неволи, от унижения, от сознательно-каторжной нагружаемой на них смертельно-тяжелой работы, но еще и деловито, обстоятельно правители вели русский народ к уничтожению, к вырождению. Мужчины на войне, мужчины на стройках. Вместо браков, семьи — половое распутство или монашеское воздержание... А миллионы домов с низкими потолками, теснотой, давкой, духотой? А эти коммунальные квартиры — позорное изобретение революции? А эти очереди, без которых не получишь куска хлеба? А это фарисейское укрывательство проституции, приведшее к фантастическому росту венерических болезней? А это дикое отрицание девичьей чести, любви, неслыханное унижение женщины и зверская перегузка ее работой? Наконец — идиотская политика: сотни министерств, безумное растранивание народных средств, распложение дармоедов. И вот в конце концов добились: уже громко, открыто говорят о вырождении русского народа, о быстром, катастрофическом сокращении русского населения, о распаде Российского государства, на созидание коего было потрачено несколько веков. Строили 800 лет, развалили в течение 60-ти.

Нельзя долго, из года в год держать людей в бедности. Со временем обеднеет их мысль, обеднеет душа. Конечно, исторически сложилось дело так, что нам приходится тянуться, спешить. Но спешка не всегда хороша. А жить полвека наспех, все ради будущего да ради будущего — так можно, не дай бог, оказаться без будущего. Между тем нашему поколению выпало жить впроголодь.

Я лично начал голодать со студенческих лет, с Томска, где я жил одно время на чае и хлебе, — чай бесплатно, а хлеба не в досталь, его трудно было достать в Томске осенью 1917 года, когда я приехал туда учиться. А что дальше? Спасибо, приютил Василий Георгиевич Янчевецкий, принял к себе в полуфиктивную газету работать корректором, и я был счастлив уже тем, что это позволило мне не пойти в колчаковскую армию, легализовать мое дезертирство из белогвардейской армии. А дальше? 24-е кавалерийские курсы в Уфе. Помню, получив паек, — хлеб, подсолнечное масло, сахар — все наше семейство усаживалось вокруг стола. Нарезав хлеб, макали его в кастрюлю с подсолнеч-

ным маслом и ели. А потом? Потом я сдуру поехал «спасать» подлую изменницу Шуру Александровну — так сказать, «гимназическую» жену. Кусок сала был там, на Украине, великим праздником. Я такой кусок зарабатывал, выращивая сахарную свеклу и рисуя картины сельчанам.

Потом я приехал в Петроград, к Всеволоду Иванову. Начался нэп, тут я не бедствовал, хотя питался, впрочем, кое-как, по столовым. Сначала Шура Александровна тратила заработанные мною червонцы, покупала куски материи, комиссионные вещи и, сложив все в чемоданы, уехала, я даже не заглядывал в эти ее сундуки. А потом меня ловко женили на «Кэт». Ну тут-то я питался, даже прислуга Женя была. Кэт наряжалась и училась французскому языку. Кроме того — везло же мне на жен! — меняла одного на другого любовников, пережила со всеми мужчинами, которые попадали к нам в дом, даже с москвичами, приезжавшими в командировки. Разошелся лет через шесть с ней, разошелся с Ольгой Владимировной, о которой уже упоминал: она не могла расстаться с постылым мужем, а я содержал и ее, и ее супруга, даже отправлял их летом на юг, в Сочи. Чтобы хватало на них на всех, работал ночи напролет, а сам жил кое-как, безалаберно в смысле еды и не густо. А затем — Самоквасова. Тут уж я попал в кабалу. Всегда почему-то оказывался в долгу у ее родни, хотя зарабатывал больше, чем они все вместе взятые. Во время блокады я несколько раз ездил за Ладожское озеро и там выменивал вещи на продукты. Мадам сама спаслась, благодаря этим продуктам, спасла своих родичей, а мой брат и мой отец умерли с голода. Как только я выбрался из этой клоаки! Спасибо Наташе, которая поддержала меня тогда и выходила. Тюрьма, лагерь, а перед этим — война и блокада, голодный паек... Четырнадцать лет подряд я ни разу в глаза не видел ни огурца, ни морковки, ни яблока. И — цинга.

Не правда ли — светлая жизнь! Но не во мне дело. Я-то еще счастливчик. Но народ! Народ как начал с воблы, так и живет по сей день. Почему в семьях по одному ребенку? Попробуй, прокорми! Голодать не хочется, больше того — все жаждут наряжаться, жить в отдельных квартирах и даже покрывать полы лаком. Поэтому тянутся изо всех сил, ловчат, зарабатывают по левой, воруют. Воруют все, и это даже не считается за воровство. Рабочие тащат с завода, повара — из рациона обедающих, канцеляристы — канцелярские принадлежности... Врачи берут «подношения» от пациентов, таксисты берут чаевые... А кто не берет? Хотите поставить в театре вами написанную пьесу? Платите. Хотите по своему сценарию снять картину в кино? Берите в соавторы режиссера. И все равно все получают меньше, чем хотят, а главное — меньше, чем должны бы получать.

Когда это раньше была проблемой квартира для среднего уровня служащего и для квалифицированного рабочего? Я не говорю уже о врачах, юристах, инженерах, писателях, это были вполне обеспеченные люди, если это были не пьяницы,

не пропойцы. А сейчас отдельная квартира — это голубая мечта, это и подвиг, и ярмо на долгое время: ежемесячная выплата за кооперативную квартиру — в течение двадцати лет, да еще сумейте записаться на этот кооператив. Дефицитом стали самые простые вещи, самые обычные продукты питания, самые элементарные человеческие удобства — и это на 63-м году Советской власти, через 35 лет после окончания Отечественной войны! Что обидно — ведь любая Польша, любая Чехословакия, нами освобожденные от фашизма, живут богаче, обеспеченнее, сытнее, наряднее, веселее, одухотвореннее, чем мы. Да что там Польша — побежденная нами Германия процветает и блаженствует, а мы нищем и хиреем. Такого унижения еще не знала страна. Спасибо, дорогие вожди. И да будут прокляты все злодеи и головоотыпы, которые довели Россию до такого позора и сейчас морят не голодом, а недоеданием весь народ и уничтожили всю культуру.

Государство платит сейчас трудящемуся народу примерно одну десятую того, что платило дореволюционное правительство. Это позволяет форсировать рост промышленности, строить и вооружаться. Но бедность очень вредна. Бедность мстит. Мельчают запросы. Меняется психология человека. Бедность ведет к нравственному и физическому вырождению. Очень грустно об этом думать. А говорить или тем более писать об этом не разрешается. Мы ведь прикидываемся богатыми.

Вот куда завели меня размышления по поводу истории с моей сторублевкой, пропитой надзирателями.

Все, что я видел и испытывал в тюрьме, меня ошеломляло. Но в те месяцы, которые я провел в Крестах, там находился Володя Солнышко, а эпизоды, связанные с ним, настолько невероятны, что ты, мой читатель, кто бы ты ни был, невольно усомнишься, могло ли такое быть.

Володя Солнышко — король преступного мира, известный уже одним тем, что за всю свою жизнь никому еще ни разу не проиграл в карты. Картежная игра — неперемный атрибут блатного мира, мира убийц и грабителей, где слово «вор» произносится, как слово «дворянин» в старой России, — с гордостью и достоинством, и почитается, как высокое звание. У вступившего на этот путь возврата нет, уход из сословия воров карается смертью. Старый вор может ходатайствовать перед своими коллегами, и, если его просьбу уважат, этот вор так и зовется — «отошедший». Всюду, где скапливается много воров в одном месте, например, в лагере, — сразу оказывается среди них главный, — я не понял, кем-то назначенный или выбранный, но когда, как и где — неизвестно. Он располагает неограниченной властью: прикажет воришке «убей» — тот не раздумывая пырнет ножом. Я знал несколько таких «главных», но об этом впереди, позднее я расскажу о блатном мире подробнее, хотя и того, что увидел в Крестах, вполне бы достаточно.

Два корпуса Крестов до отказа наполнены уголовниками всех мастей и рангов. Мы — триста человек, привезенных со Шпалерной улицы, — тут посторонние, временные постояльцы. А Володя Солнышко — знаменитость, гордость всех воров, его чтут, уважают, любят. Он так меня заинтересовал, что я забыл о себе, о своей горькой участи и расспрашивал об этом «короле» кого только мог.

Сидел он в Крестах, видимо, давно, и тюрьма делала все от нее зависящее, чтобы держать его у себя подольше. Живет он здесь на привилегированном положении. Ему предоставлена просторная камера. При нем находится его секретарь (адъютант, поверенный, лакей — как хотите назовите), раболепно ему прислуживающий. К нему даже ходит парикмахер.

За что же тюремное начальство так дорожит этим Володей?

Как только поступит в Кресты ценный человек, например, инженер, только что приехавший из заграничной командировки и схваченный прямо на улице, в чем был, — к нему в камеру немедленно подсаживают Володю. Долго он там не задерживается. Или предложит новичку сыграть в карты, или — скорее всего — пригрозит и покажет ему нож, который против всяких правил спрятан у него в обуви или в поясе. . . Словом, вскоре Володя Солнышко стучит в дверь, его выпускают и проводят обратно в его камеру, а на руках он несет заграничный костюм инженера и вообще все его вещишки.

Это и есть постоянная работа Володи Солнышко в тюрьме. Он и сам появляется на прогулке каждый день в новом одеянии. Когда я его видел первый раз, он был в синем шевиотовом костюме, очень эlegantном и совершенно новом.

Но разве он заботился только о себе? Начальник тюрьмы получал самый большой куш. Не забыты и все остальные тюремные заправилы. Когда я узнал об этом, я чуть не умер от ужаса, отвращения, от сознания, что же такое творится у нас в стране. И что же стоит в такой обстановке человеческая жизнь? И вообще — на что еще можно надеяться? И что там всякие морали, убеждения, теории, религии, мировоззрения, идеи? Володя Солнышко вершит судьбами! И получает в награду убогий почет тюремных прохвостов и всей этой армии убийц, грабителей, вымогателей, шулеров. . .

Страшно.

Население обычно плохо знает законы, постановления, даже правила уличного движения пешеходов. В сущности, эти правила знает милиция, прокуроры и редакторы газет. А вот блатные твердо знают свои законы, хотя они нигде не записаны, не напечатаны в ежедневных газетах и не объявлены по радио.

Например, всем известно, что Володя Солнышко принимает от блатных дары. Но не всякие. «Черемуху» Володе посылать нельзя, то есть черный хлеб я имею в виду. «Бациллу» можно во всех видах. «Бацилла» — это масло, сало, жиры. Папиросы посылать можно, но не ниже «Казбека».



У самих воров бывают, конечно, передачи, но главная их статья доходов — ограбление «фраеров», то есть не воров, а посаженных в тюрьму за растрату, за халатность, за опоздание на работу и за разные другие дела, — словом, всякой мелкоты, которой плохо живется в лагерях, да и не сладко «на воле». Этих фраеров обируют воры, то есть тюремная аристократия. А из своей добычи воры лучшие куски отсылают Володе Солнышку.

Как же они передают Володе свои дары?

Я заплатил тюремщику папиросами «Северная Пальмира» (не подумайте — коробками, нет, несколькими папиросками) — и меня утром вызвали из камеры зычным окриком:

— Четвериков! На работу!

Мне дали в руки метлу, вывели во двор, я встал с метлой в руках на припеке, утреннее солнце приятно грело, я щурился и спокойно ждал своеобразного спектакля: «Володя Солнышко на прогулке». И вот появился в дверях первый именно Володя Солнышко, а рядом — его адъютант. Синий шевиотовый костюм, в каком я видел первый раз Володю, теперь сменил хаки полувоенного образца. Володя был гладко побрит, вероятно, надушен одеколоном, волосы у него были слегка подзавиты. Вообще он явно актерствовал, позировал и старался изобразить этакое некоронованного короля или знатного принца. Он знал, что сотни глаз устремлены на него из всех окон. Он перебрасывался пустяшными фразами и не замечал присутствия длинной вереницы арестантов, шествующих вслед за ним по группам, составляющим ту или иную камеру. Все безмолвствовали и с любопытством наблюдали за происходящим.

Дело в том, что в Крестах выглядывать в окно запрещено. С наружной стороны на тюремной стене над каждым окном начертан номер камеры. Если надзиратель заметит, что кто-то выглянул из окна, он записывает номер камеры, а потом камера получает порку. К порке, по-видимому, здесь привыкли, и это даже не обсуждается никем. Не дай бог бросить из окна даже мелочь — скажем, клочок бумажки. Земля под окнами выполота, ни травинки, ни соринки, все сразу видно.

Но все эти правила не для Володи Солнышка. Из всех окон слышны звонкие голоса:

— Привет Володе от Чужбана!

— Володя! Сёма Метеор загремел в Воркуту!

— Витёк Покойник достал ксиву!

Вместе с возгласами из окон летят посылки, хорошо упакованные свертки — дары, так сказать, от народа своему светилу.

Сам Володя даже бровью не поведет, как бы ничего не замечает. Посылки собирает адъютант. Надзиратель стоит в сторонке и любуется на облака. Сейчас он должен ничего не видеть и не слышать. Он так и поступает.

Я созерцал все это великолепное представление в полном восторге и потрясении. Да и редко кому выпадает повидать что-нибудь подобное.

Изредка к Володе в камеру приходил кто-нибудь на заклатие: подкапливал правдами и неправдами, а в основном, конечно, неправдами, солидную сумму и шел к Володе сыграть в карты. Они знали, что вернутся не только без денег, но зачастую и без одежды и без какого-нибудь заветного кольца, умело убереженного от всех шмонов. Но они получали право говорить: «Играл с самим Володей Солнышко! Ни одной карты не дал! Проигрался я начисто!» — и это звучало похвалой, вызвало зависть.

Иногда Володя сам вызывал к себе кого-нибудь из бандитов покрупнее — медвежатников, квартирников. Часто вызывал (разумеется, в сопровождении тюремщика) Леху Пульса, который славился как рассказчик и исполнитель блатных песен. Все события тюрьмы без всяких газет и радио каким-то образом моментально становились известными всем. А уж о Володе Солнышке тем более все всё знали: «Володя заскучал и пригласил петь Леху», «Володя начисто обыграл Дылду»...

Я собрал большое количество блатных песен и стихотворений. Но почти все записи погибли при переездах из одного лагпункта в другой. Этапников зверски обирал дорожный конвой. Не довольствуясь этим, конвой безжалостно ломал, рвал, крушил все «драгоценности» зе-ка. А главной драгоценностью была ложка. Нет ложки — нигде не поешь похлебки да и каши, хотя кашу еще можно съесть руками, загребая пригоршней.

Вилко, ножей, тарелок, стаканов, зеркала, ну, конечно, бритвы и многого другого зе-ка не имел права иметь при себе. Мне прислали однажды в посылке карты — наивно думая, что вот пускай от скуки пасьянс пораскладывает. Эти карты приходило смотреть все начальство. Они уже не знали даже, что тут сказать. «Карты!» — показывали мне как на величайший позор и наглость. — «Да, — соглашался я, — карты». — «Товарищ майор, посмотрите: карты!» Но все-таки карты всегда были, на любой колонне, в любом бараке, на любой пересылке. На лагпункте 01 — Тоннельная, в сорока километрах от Тайшета, был особый барак инженеров. Это были мои друзья. И я иногда был приглашен к ним на пульку в преферанс. Двери запирали, на стреме стоял дневальный. И ничего, обходилось, никогда не было никаких неприятностей.

Но карты блатных совсем не похожи на обычные. А печатают их особыми мастерски изготовленными печатками. Я не только видел, но, случалось, и делал для блатных их фасона колоды карт.

У блатных и игры в карты свои. Стос — играют двое, сдается по девять карт, и целая куча правил и названий: общая курица, третьё — сибирская, первая — лоб, вторая карта — сонник. Мошенническая игра — галантинка. Тут множество жульнических изобретений и приемов, например, «насыпное очко», когда с одной стороны карты туз, а с другой — дама, или «на клин» — все десятки обрезанные. Есть игры с галантинкой, где необходим помощник — «баламут», о котором приговаривают: «Протянул забайкальского рябчика». «В курок» — тоже игра с партнером.

Много у блатных своих излюбленных словечек, а жаргон — «феня» — меняется каждые 3—4 года. Максим Горький записал словарь блатных. Но у меня есть совсем свежий словарь, мне его подарил недавно при особых обстоятельствах некий Толик — из их бражки. Он пришел ко мне однажды с визитом, проследив, когда Наталья Борисовна уехала за покупками, и преподнес мне рукописный словарь нового воровского жаргона — две тетрадки. И подарил новешенькую ручку «Паркер» — боюсь, украденную у кого-то, сказав при этом: «Мы считаем вас нашим писателем, ведь вы часто изображаете нас в своих книгах. У вас в окне свет всю ночь — работаете. А часа в четыре идете погулять перед сном. Гуляйте на здоровье и не оглядывайтесь. Мы вас в обиду никому не дадим. У нас постановлено: один к ста, если с вами что случится».

Вот так. Не больше, не меньше. Впрочем, что там блатные, лагерьники, — водители такси, молоденькие ребята, выслушав мою печальную историю, не раз то ли в шутку, то ли всерьез грозились уничтожить стукача-клеветника, чем приводили меня в ужас.

Но бог с ним, со стукачом, тем более, что он уже и сам умер, похоронен писателями с почетом. Гораздо больше меня волнует другое: приоткрыли при Хрущеве завесу, сказали частицу правды о нас, многострадальных, — и все, захлопнули дверцу. Снова эта тема закрыта, снова народ в неведении — доколе? Вот и эти мои записи: пишу кровью сердца, потому что перенес немало, чудом выжил, и мой долг — рассказать обо всем, что со мной было, пока жив. Но где гарантия, что эти записи уцелеют, что они увидят когда-нибудь свет? Ведь пока что я не только напечатать — показать никому не могу эти синие тетради, ибо «самиздат» мне претит, пускать рукопись по рукам не хочу из какой-то внутренней гордости и самолюбия. Вот и получается, что много думаешь о судьбах своей страны, но высказать самое выстраданное, выношенное и заветное не дают наши же издательства, а кое-что и сам не предложишь и даже не напишешь, так как выработался уже самоконтроль, самоцензура: знаешь, что все равно не возьмут. Что поделаешь, так и продержали меня в наморднике. Разве я только «Котовского» да «Утро» — «Навстречу солнцу» — «Во славу жизни» написал бы. Никто и представления не имеет, какая творческая сила во мне сидит. Так разве я один? Обокрали сами себя российские недотепы.

Невольно вспоминаются двадцатые годы. Нельзя даже сравнивать, насколько лучше жилось, насколько легче дышалось тогда людям. Счастливая пора! Двадцатые годы — это годы, в начале которых еще жив был Ленин. Отсюда и тон журналов того времени, кажущийся невероятным нам, людям семидесятых годов. Невероятно даже то, что мне, начинающему писателю, только что приехавшему и никем не покровительствуемому, не какому-нибудь, так сказать, литературному вождю, даже беспартийному, — поручают редактировать журнал. В этом журнале («Зори») пишут

смело, спорят с жаром, журнал нелицеприятен, честен, в нем не разгуляется какой-нибудь пустозвон и крикун. Журнал печатает стихи и рассказы Муйжеля, Горького, Зощенко, Вс. Иванова, Анны Весниной, Колбасьева, Крайского, Панфилова... В журнале выступают с острыми статьями Илья Груздев, профессор Сиповский, Г. Горбачев, Свентицкий, Жуков, Медведев... Как бог уберег меня? Чем объяснить, что такого разгула напостовщины, как в Москве, у нас не было? Ни Садофьев, ни Павел Арский, ни Маширов-Самобытник не разделяли практики напостовцев, а Горбачев, Камегулов, Горелов, Друзин даже выступали с резкой критикой платформы РАПП. И моя группа «Содружество» образовалась, собственно, при этом журнале.

В издательствах меня в ту пору ценили так, что дальше некуда. Печатали все, что напишу. Ни разу, повторяю: НИ РАЗУ! — ни одной строчки написанного мною не тронули. Умели уважать писателя. Я не скажу, что у меня было много денег. Я, как не научился пить водку, так же не знал, что деньги можно откладывать на черный день. Я не знаю даже, были ли в те годы сберкассы. Деньги у меня водились, я их расходовал, и больше мне ничего было не надо. Затрудняюсь объяснить это, но я вообще в деньгах ничего не понимаю. Они меня сами по себе не интересуют.

Так вот. Я жил беспечно. Очень любил писать. Никогда не писал, думая, что надо поскорее закончить повесть, роман. Слово, жил иначе, чем сейчас.

Сейчас, в 70-е годы, я, несмотря на свой возраст, работаю неустанно — и постоянно нуждаюсь в деньгах. Пока что-то пишу — спокойно живу. Как только сдам рукопись — начинаются страдания, горечь, а порой бешенство и бессильная ярость: ко мне приставляют какую-нибудь мелочь пузатую, которая делает все, чтобы я, рассвирепев, взял рукопись обратно. С каждым моим романом связано столько ожесточенной борьбы, столько ужаса и отчаяния, столько конфликтов, объяснений, докладных записок, что, если все это рассказать и наглядно показать, — страшная получится картина. Все сколько-нибудь острые произведения — почти все — в конце концов были напечатаны, но всегда с купюрами, поврежденные, обкромсанные. И сколько абзацев, страниц и глав осталось за бортом! Кто и когда их восстановит? А кто восстановит мои нервы?

Потомки не поверят, что в некоторых издательствах было и сейчас существует строжайшее распоряжение: роман не должен размером превышать 25 авторских листов. У меня была целая переписка с Воениздатом по поводу одного лишнего листа, превышавшего это позорное предписание. В результате я снял из романа «Во славу жизни» очень характерную для гитлеровских зверств сцену, когда население одной деревни согнали в один дом и сожгли живьем. В Белоруссии было 600 таких сел и деревень, значит, это типичное для войны с Гитлером явление. А я — ухудшил роман... (Правда, получил один новый рассказ — «Катя», до сих пор, впрочем, ненапечатанный.) Этот же роман, кстати ска-

зять, испорчен тем, что по требованию цензуры пришлось — из-за невозможности сказать о массовых репрессиях периода культа — по-другому повернуть целые сюжетные линии, исказив судьбу действующих лиц.

Рукопись «Красный маяк» — из серии по истории фабрик и заводов — в Лениздате так измордовали, что я сам отказался ее печатать и даже вернул гонорар (аванс), чтобы не ущемлять комбинат, который финансировал это издание (а имел полное право не возвращать деньги, никакой суд мне бы этого не присудил). В отличие от многих других книг этой серии моя была — смею вас уверить — добротной, не стандартно написанная, ее бы читали с интересом все, а не просто хранили на предприятии в кабинете директора или в парткоме. Впоследствии я сделал на этом материале роман («Гром среди ясного неба»), но тоже не могу его нигде напечатать, хотя отнюдь не считаю эту работу неудачей, напротив.

Подчас дело доходит до курьезов: только через год по выходе книги, в 1979 году, я обнаружил, что из этого сборника «Золотой Клин» («Современник», 1978) исчез рассказ «Честное слово». Никто не согласовывал со мной снятия этого рассказа, в корректуре он был, — мог ли я думать, что его не окажется в книге? И самое ужасное, что никто, понимаете, НИКТО, даже и не поймет, чего это я переживаю, чего это считаю такой факт оскорбительным. Ну, что тут такого, книга-то вышла, подумаешь — один рассказ. А я только умоляю: помогите мне, господа, стерпеть все, что проделывают со мной!

Примеры можно множить. Вот еще недавний сюрприз. Договорились, что Воениздат выпускает мой сборник военных рассказов. Я обдумывал его, составлял, уже и редактор был назначен, и название придумано — «Передний край». Кто-то заупрямился, стал возражать против трех глав из «Стежек-дорожек», где действие происходит в гражданскую войну: в тылу Колчака просто эшелоны с людьми, которых погрузили в вагоны и обрекли на смерть, поезда сгрудились, забили всю магистраль, никто даже думать не думает, что там, в эшелонах, люди, живые люди, даже речи нет, чтобы кто-то позаботился о них — чем и где накормить, где достать для вагонов топливо, воду... И — тиф... Об этом сейчас, пожалуй, некому и рассказать, кроме меня, самолично пережившего эту эпопею. Но вот посчитали эти главы неподходящими для сборника, предложили снять: чего тут, дескать, военного, никто не кричит «ура», почти не слышно выстрелов — какие же это военные рассказы. Я — ничего. Привык. Хоть и не согласен, что колчаковщина не относится к военной теме, но без всяких разговоров заменил эти драгоценные для меня главы другими, «более военными» вещами. И сюда же пожертвовал свою святыню — «Куликовскую битву», сняв оттуда только то, чего не вынесет ни одно издательство, хотя не понимаю, почему. Так вот, я тружусь, заканчиваю перепланировку сборника и... узнаю, что книга вообще снята из плана. Каково? Настоящий произвол. И добро бы с новичком в литературе, с начинающим (хотя и это недопустимо), а то ведь

с автором полусотни книг вытворяют такое. Откуда взять силы, чтобы все это перенести и не окочуриться от разрыва сердца?

У меня не было за последнее время ни одного издания, где бы, не уведомляя меня, даже не спрося, издательство чего-нибудь не вычеркивало. «Все равно цензура не пропустит» — вот их довод. И эти горе-деятели не понимают хотя бы такой простой вещи: рядовой издательский работник, позволяющий себе подменять цензора и самовольно вычеркивать что-то, совершает преступление. Неужели это надо объяснять? Что будет, если милиционер, поймав афериста, грабителя, сам назначит: тебе 10 лет тюрьмы, и не спорь, судья может вклеить и больше? Присваивать себе право другого учреждения — разве это позволительно? Так и рождается беззаконие.

Но у нас все еще хаос, бестолковщина, самоуправство. Во многих областях нашего хозяйства еще нет порядка. А как наша литература нуждается в новом Воронском! Воронский допускал ошибки в оценках, даже в некоторых установках. Но это один из крупнейших деятелей нашей эпохи. Ему многое можно простить за одно то, что он самоотверженно и бесстрашно брал под защиту всю молодую советскую литературу и буквально вынырчил целую когорту писателей. Тем более что в его руках был мощный рычаг спасения — первый советский толстый журнал «Красная новь», огромное издательство «Круг», журнал «Прожектор» с приложениями вроде нынешних огоньковских книжечек. Например, в виде **такой книжки как приложение к «Прожектору»** была издана моя повесть «Волшебное кольцо». Это был 1925 год. Я искренне любил Александра Константиновича и даже чуть-чуть не породнился с ним, подумывая жениться на его племяннице. Брак этот не состоялся, а эта милая девушка перед самой войной оказалась в Ленинграде и погибла в годы блокады, о чем я узнал от И. И. Груздева. А с Воронским у нас всегда были сердечные дружеские отношения.

«Серапионов брат» Каверин называл Воронского — «наш кормчий». Шутки ради скажу, что, если использовать это слово не в истинном его значении рулевого, а беря корень «корм», «кормить», то Воронский действительно кормил и спасал в те годы многих писателей. У него были широкие полномочия. Например, он мог писателю, которого считал способным, талантливым, дать просто так, даже без расписки, денег: на всякий случай, чтобы писатель не нуждался, не тратил времени и душевных сил на добывание средств к существованию. Воронский понимал, что настоящий писатель дает народу драгоценный продукт — подлинное творение искусства, которое бесценно, которое стоит дороже любой суммы, какую писателю могут предложить, а если в двоих-троих он, может быть, ошибется, то другие окупят и эти затраты.

Разве способны на такие поступки современные холоуи, большей частью необразованные в высоком смысле этого слова, а главное — бездушные: что помои псевдописателей-бумагомарателей, что шедевры литературы — им один черт, важно лишь то, чтобы

как-нибудь урезать писательские права, недодать. В 20-х годах гонорар был несравненно выше и полноценнее. Только висlouхий кретин мог придумать платить за повторные издания все меньше и меньше,— значит, чем ценнее произведение, чем больше на него спрос, тем меньше надо его оплачивать. Разве пятое и десятое издание романа хуже по содержанию, чем первое? Ведь получается, что, издавая Пушкина и Льва Толстого, следует уже с НИХ брать некую сумму за двадцатое издание!

И еще один штрих. Ну скажите, разве это справедливо — отбирать пенсию в тот месяц, когда есть получка за какое-нибудь издание-переиздание? Вот, к примеру, держали меня ни за что ни про что одиннадцать лет в тюрьме и лагере. Я не только не обозлился, не возненавидел, а понял, что тут козни врагов Советской власти. И там, в заключении, написал острый политический роман. Когда его через 8 лет напечатали,— мало того, что я разделил гонорар с примазавшимся ко мне в соавторы Дмитревским, мало того что с меня налога взяли, как с какого-нибудь нэпмана, 6 тысяч, — но еще и тотчас же у меня отобрали пенсию. А разве я не заслужил ее 45-летним трудовым стажем? Разве она не полагается мне по возрасту? Вот так отнеслись к моему заработку, вместо того чтобы за такую-то беззаветную работу, за такой роман, написанный в лагере, уплатить мне вдвое больше обычного, полностью обеспечив всю мою дальнейшую жизнь.

Тут еще, конечно, в том беда, что в Союз писателей согнали 8 тысяч всякой шантрапы. Восемь тысяч русских графоманов и болванов да малаек и бабаев разных племен! Вы скажете — интернационализм? Нет, — невежество и надувательство. Не может быть столько писателей, нет их! Создайте подлинно авторитетную и НЕПЬЮЩУЮ комиссию — и от восьми тысяч останутся даже не сотни, а десятки. Трудно, конечно, сейчас очистить зерна от плевел: где критерии, мерки? кто будет судьями? Может быть, лучший выход в таком положении — вообще распустить Союз писателей. Тогда будут известны только истинно талантливые, читаемые и почитаемые народом люди, которых и назовут писателями. А то ведь в писатели хлынули потоки зачастую просто малограмотных людей, которые засоряют литературу, а власть имущие позволяют втирать очки многомиллионному читателю, то есть народу. Так-то уважают народ!

Прямое следствие этого попустительства — внедрение исковерканного жаргона вместо русского языка, убогого, серого, и порой безграмотного слога. А иногда просто бездушная эквилибристика, когда незнание языка обыгрывается как особый загадочный прием, недоступный неквалифицированному читателю: сочинитель взбалтывает этаким словесный гоголь-моголь, жертвуя смыслом ради созвучий. Я считаю, что вправе судить о языке, говорить о стихах и прозе, о стихосложении и сюжете, ибо все это моя стихия, в этом мире я живу всю жизнь и, вероятно, кое-что постиг и даже кое-чего достиг. У меня проработано множество произведений разных бездарей и псевдонимов именно с точки зрения языка, и я мог бы

выпустить целый том примеров косноязычия, причем иногда — косноязычия с многозначительным видом (я называю это явление в литературе ложной многозначительностью). Если бы таким языком написал сочинение ученик — поставь ему двойку, и все. А тут ведь — советский писатель! И никто ничего. Вот это и страшно. Представляю, какие веза макулатуры пойдут со временем в переработку. Но боюсь, что потом понадобится целое столетие, чтобы приучить русских говорить на чистом русском языке. Устал я, и противно, не хочется что-то иллюстрировать и практически доказывать убожество, полную непригодность некоторых беззастенчивых людей, издающих — не знаю, какими путями, — бездарные произведения, их или не читают, или, если читают, портят свой вкус... Это совсем не игрушка, не шуточное дело — художественная литература, детская литература, школьная литература.

Я считаю, что за полвека существования Советской власти вывилось примерно 10 подлинных писателей. И это хороший процент. Ведь и за весь XIX век можно назвать 15—20 выдающихся имен. А если хотя бы на память — кто? Лев Толстой, Пушкин, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Тютчев, Аксаков, Грибоедов, Лесков, Островский (уже с оговорками), Салтыков-Щедрин, Чехов... Апухтин... Ой, забыл Крылова, я его ставлю на третье место после Л. Толстого и Пушкина. Наверное, еще кого-то забыл. Ведь сейчас ночь, пятый час, я устал. И, конечно, это субъективное мнение.

Из первых пятнадцати лет XX века, кроме Блока и Ахматовой, я смело назвал бы, но выборочно, например, Алешу Толстого: «Хождение по мукам» да с оговорками «Петр I». Сказав «хм», назову еще «Детство Никиты» и споткнусь. Подхалтуривал граф, но «Хождение» — это перл, даже несмотря на слабые места — с Махно и всякими заговорщиками, в которых Алексей Николаевич ни ухом, ни рылом. Ну, и, конечно, Бунин (выборочно), Куприн (очень выборочно), Леонид Андреев (тоже не все). Эти трое владели умами и сердцами русских людей в первом десятилетии XX столетия. И все трое оказались в эмиграции в годы Октября, так же как Мережковский, Евгений Замятин и многие другие, только Горький и Алексей Толстой одумались и вернулись обратно. Многие интеллигенты не сразу разобрались в значении революции, не осмыслили ее. Но Блок и Ахматова остались, Андрей Белый остался, Сологуб остался, Соболь остался, Шишков и Чапыгин не уехали, Пришвин не уехал, Вересаев и Клюев, Брюсов, Сергеев-Ценский, Серафимович остались...

Кого же, значит, я числю в первом десятке? Кроме названных, Зощенко (не все, но «Аристократка» — шедевр!), Сологуб (только «Бес»), Шолохов (только «Дон»), Леонов («Русский лес», только пожать бы его), Маяковский (не считая некоторого захламления), Есенин (тоже не все)... А вообще у нас много хороших писателей XIX и XX веков, больше, конечно, чем 10 или 15—20, это я лишнячку хватил. В XIX веке всякие там Глебуспенские и Решетниковы, даже Чернышевский как беллетрист (как социолога я его



ставлю выше Карла Маркса). В XX веке — Луговской и Солоухин, Шишков и Чапыгин — все это хорошие писатели, кто же говорит, что плохие. Сергеев-Ценский — многословен и все-таки хорош. У Горького есть очень хорошие, удачные произведения, вроде «Дела Артамоновых». У Неверова... У Булгакова... У Лавренева есть «41-й», у Соколова-Микитова можно набрать один великолепный том, у Всеволода Иванова — тоже, покопаться — и у Пришвина. А вот я забыл — это первый сорт — Борис Корнилов, Павел Васильев, их можно во второй десяток включить, как и Прокофьева. Фадеева забыл — только «Молодая гвардия». Можно назвать еще Федина, Каменского, Замятина, Форш, Соболева, Серафимовича, Хлебникова, Ольгу Берггольц... Мне неприлично сейчас причислять и себя к этому списку, но после моей смерти, думаю, причислят, как миленькие. Я не говорю о синих тетрадях, это — исторический документ. Трилогия — я бы прошелся по ней с карандашом. Но «Малиновые дни», или «Ржавый дол», «Трахтырь»... или «Любань»... Да и «Котовский» — вещь. Думаю, что оценят и «Стежки-дорожки»...

Итак, что же получается? Ну, насчитаю я сто современников, которые составили нашу блестящую эпоху своими хлынувшими, как благодатный летний дождь, произведениями. Ну, двести. Но не восемь же тысяч! Сознательное или бессознательное это превращение Союза писателей в восьмитысячное сборище, сброд?

Но как не берегли у нас испокон века писателей! Какая трагическая и преждевременная смерть у Грибоедова. Пушкин и Лермонтов убиты в расцвете лет и сил. И какой надрыв, какие трагедии: Гаршин бросается в пролет лестницы, Писемский, Глеб Успенский, Решетников гибнут от водки (да и разве одни они!). Надсон, Белинский, Чехов и многие другие — жертвы туберкулеза... А в нашу эпоху? Странное дело: в стране социализма на протяжении 50 лет какие судьбы постигли русских поэтов, прозаиков, критиков и литературоведов. Зощенко и Ахматова затравлены. Лихарев умер от разрыва сердца, как и Лавренев. Сейфуллина и Саянов спились. Чивилихин и Борис Бродянский застрелились. Самоубийством кончили Есенин, Маяковский, Соболев, Фадеев...

Александр Константинович Воронский умер на Колыме 13 октября 1943 года. Александр Александрович Фадеев застрелился 13 мая 1956 года в Москве. О чем передумал и что перечувствовал Фадеев за эти тринадцать лет, с 1943-го по 1956-й? Не мерещилось ли ему что? Не он «упек» Воронского на Колыму. Но он был на достаточно авторитетном положении в 1937 году, когда Воронского посадили: с 1934 года член правления и президиума Союза писателей СССР. В год, когда умирал Воронский, Фадеев изучал материалы молодогвардейцев и многое узнал о страданиях людей, о жестокости тюремщиков. И не подумалось ли тогда Фадееву не о молодой, а о «старой гвардии», о замечательном большевике Воронском, о повести «За живой и мертвой водой»... об истинном смысле репрессивного разгула? И не пожалел ли он, что энергично и решительно не заступился за замечательного деятеля, прекрас-

ного и талантливого человека, да ведь, собственно, и своего учителя? А слово Фадеева в те годы что-то значило!

Впрочем, в 1931 году Фадеев жестоко расправился с писателем Андреем Платоновым (настоящая фамилия Платонова — Климентов), которого сам же печатал в «Красной нови», где занял престол после свергнутого Воронского... Очень сложна и запутанна была жизнь прекрасного писателя и честного человека Фадеева. Главная неприятность — что Андрей-то Платонов как раз писатель из рабочих, сын слесаря и сам с пятнадцати лет труженик. Ведь на таких, казалось бы, делали в ту пору ставку напостовцы, сами как раз отнюдь не рабочие, отнюдь не крестьяне, как, впрочем, и Фадеев. Платонов устоял на ногах после разгромной статьи Фадеева. Платонова знал Горький, это, вероятно, спасло его. Умер Платонов в 1951 году, в январе. Я с Платоновым не встречался. В год его смерти я находился в далеких краях...

Наша эпоха щедра, наш народ богат на таланты. А сколько поубивали, не дав им расцвести! Расстреляны или сгинули в казематах Василий Князев и Николай Гумилев, Борис Корнилов и Павел Васильев, Г. Грабарь и Майзель... Воронский, Клюев, Баршев, Орешин, Камегулов, Горбачев, Стенич, Медведев, Борисоглебский, Колбасьев, Гр. Сорокин, Венус, Пильняк, Шилин... Я не знаю, кто из перечисленных мною расстрелян, кто погиб в тюрьмах и лагерях от голода и пыток, но их нет, и нет еще многих и многих, чьи имена я сейчас не упомяну.

А многие из тех, что умерли не в заключении, ушли в могилу, преждевременно израсходовав жизненные силы, надорвавшись физически или морально. Невеселая в общем картина. Как подумаешь — многие писатели не скончались бы раньше срока, если бы их больше берегли. Пример из недавних — Шукшин. Вот силаща-то, вот талантище был! К сожалению, БЫЛ. Не уберегли, не дали развернуться в полную меру. И разве он один, рано ушедший? Берегут нас, видимо, не лучше, чем пшеницу, которую рассыпают по дороге на элеватор, а затем оставляют под дождем, под открытым небом, на радость воров и воронья. Можно подумать, что ходит черная оспа, что разразилась эпидемия. Косит и косит людей. И это в мирное время. А сколько взяла война и блокада Ленинграда! Крайский и Панфилов, Сергей Семенов и Свентицкий, Инге и Афиногенов, Петров и Жуков... Кажется, более ста писателей погибли в 1941—1945 годах.

Да-а... А сейчас поразительно до чего измельчала писательская среда. Зачастую у наших писателей нет стержня, нет взглядов, убеждений, мировоззрения, нет даже человеческого достоинства, их затыркали, запугали партийной дисциплиной. Пишут плохо, невыносимо плохо, стряпая очерки и именуя их романами. Впрочем, и очерки могли бы быть хорошими, но и этого, к сожалению, нет. Почему? Не только потому что нет таланта, но главное — нет культуры, нет интеллигентности, о чем я уже говорил. Вот и трудно им, беднягам, писать, не легче, чем моему следователю Кулакову, который писал в протоколе: газета в «Перёд».

Мелкотемье. Прimitив. Пишут, какие облака плывут по небу, как трещит трактор и гудит мотор, о любви — в рамках романа «Я вас ждала, а вы не шли»... Очень измельчала литература. С надеждой хватаемся то за Бондарева, то за Распутина...

А как, в сущности, бесцветны наши журналы, составляемые заблаговременно, к моменту выхода совершенно утратившие актуальность. Заверните старые комплекты журналов в новые обложки и выпустите то, что печатали в 1975 году, теперь, в 1979—80. Никто и не заметит.. Журналы превращены в альманахи, в сборники повестей, рассказов, стихов и критических статей — обо всем понемногу. Помню, какие споры, обсуждения, то негодование, то восторг вызывал выход «Красной нови», «На посту», даже моих «Зорь» или «Литературного еженедельника». Вот это была подлинная литературная жизнь. А сейчас журналы и литгазеты напоминают вотчины: вот это — именице Икса... а здесь — кормушка Игрека...

Грустно все это.

Недавно один за другим умерли Николай Семенович Тихонов и Алексей Кузьмич Югов. Югова зацукали, фактически довели. А Тихонов как писатель умер давно, стал общественным деятелем. Вероятно, и деятели нужны? И вспомнилась мне вот такая история. Тихонов написал постыдно слабую поэму о Кирове — в смысле, что Киров умер, но Киров жив. И тут я впервые, пожалуй, наблюдал такую странность: напостовцы поэму напечатали и в критических статьях превозносили до небес, отлично понимая все ее несовершенство. Чего они этим достигали? Кое-кто доверчиво прислушивался к хвалебной критике и верил. Но время показывало, что поэма — пустое место. И подрывалась вера, доверие, возникала неразбериха: что хорошо? что плохо? Почему поют дифирамбы плохим произведениям и замалчивают хорошие, высокохудожественные?

С годами этот метод стал системой, политикой. В гении протаскиваются бездарности. Произведение пустое, написано бесцветным, невыразительным языком... Все фигуры в нем условные, элементарные, готовенькие — эти положительные, эти отрицательные... Нет ни сюжета, ни мысли, сочинитель ничего не хочет сказать, ему и нечего сказать, но взял карандаш и пишет, что взбрет в голову, — как чулки надвязывают, петля за петлей, придумывая нелепые комбинации слов. Вам непонятно? Значит, вы еще не доросли. А ведь обидно, если вас неквалифицированным читателем называют? Вы и станете уверять, что да, угадываете глубокий смысл. И таким неблаговидным способом авторитетные лауреатные щелкоперы — из тех, что на всякие симпозиумы ездят, сидят в правлениях, секциях и литфондах, при попустительстве влиятельных особ, даже «королевы Двора» (ведь, говорят, в ее салоне решаются все вопросы о государственных премиях, орденах и прочих лаврах) — объявляют словесную тюрю таких писак шедевром (сойдет за гениальность у простачков!), а их самих провозглашают звездами да еще направляют в литинституты ковер-

жать молодые таланты. В ходу одна и та же обойма имен — в основном, стоящих во главе литературных кормушек. К ним так привыкли, что — уже и не читая — признают за гениев. Эту элиту награждают, выбирают, премируют, переводят на все языки, экранизируют, издают-переиздают, вокруг них ажиотаж и барабанный бой. Другие же, может быть, более и уж, во всяком случае, не менее достойные имена, окружены заговором молчания, их будто нет в литературе. А уж если писатель осмеливается рассказать об истории своей страны, не придерживаясь официальных взглядов, — такого вычеркивают из жизни, списывают со счетов, сажают на голдный паек.

Наглядный пример — я. В точности как перед арестом, когда «стряпали мое «дело» и, не печатая, вгоняли меня в нищету, — так и сейчас все повторяется снова. Ловко подставляя мне всюду подножку (а за подножку штрафуют даже хоккеистов), загоняют меня в нужду, и я только что взял взаймы еще тысячу рублей в добавок к прежним двум. Это я, писатель, у которого лежат непечатанные, ждущие издания произведения: роман «Гром среди ясного неба» — 30 листов, две первые части воспоминаний «Стёжки-дорожки» (первоначальное название — «Повесть о человеке XX века», но я его забраковал) — листов 50, сборник новых рассказов — 30 листов, новых стихов и поэм — 8 листов, «Куликовская битва» — 3 листа. Это уже больше ста листов, а сколько еще книг, уничтоженных при моем незаконном аресте (не считая пропавших в лагере рассказов «Привидение», «Молодые люди», пьес, скетчей и сценок) и до сих пор ни разу не переизданных, не восстановленных из небытия (а там есть крупные, значительные вещи: «Деловые люди», «Любань», «Бунт инженера Каринского», «Заиграй овражки») . . . Плюс моя голова, за которую умный хозяин дал бы, не задумываясь, миллион рублей задатка, так как я в здравом уме и полной памяти и хотел бы успеть еще написать:

1. Третью и четвертую книги воспоминаний — о двадцатых годах, о зарождении советской литературы по личным впечатлениям и о войне, о блокаде Ленинграда.

2. Роман «Палец на кнопке» — он весь написан у меня в уме, так как я всегда «пишу» произведение сначала мысленно, а уж потом на бумаге. Предлагал эту идею Воениздату, у меня хранится копия творческой заявки, но ответа не последовало.

3. Роман о сооружении первой крупной железной дороги в России — магистрали Петербург — Москва, тем более что мой предок, писатель М. В. Авдеев, был путеец по образованию и оставил очерк об этой только что построенной тогда дороге как о чуде техники: ехали они до Москвы ровно сутки. Мельников, строивший эту дорогу, был однокашник Авдеева и вообще очень талантливый инженер, и мне хотелось написать о нем и вообще продолжить тему, начатую Авдеевым.

4. Роман-эпопею о сооружении Сибирской магистрали. Об этом, как ни странно, совсем ничего не написано, а ведь замечательный подвиг и труд.

5. Еще в голове у меня сочинен роман о Женщине и Мужчине, о любви, о вожделении, об интимной жизни, которую по дикому невежеству считают запретной темой, порнографией, а хоть бы подумали: сами-то они откуда взялись, как не от этой как раз порнографии? Значит, что-то неприличное делали родители, когда зачали этих застенчивых ханжей? Я считаю, что тело человека прекрасно, причем мошонка — не меньшее чудо, чем печенька, а совокупление — очень сложный и ответственный акт.

Я бы мог перечислить еще с десяток вполне сложившихся творческих замыслов, таких, что только садись и пиши. Кое-что, например, мои литературные воспоминания, будет ценнейшим справочником для каждого, кто изучает советскую литературу, ее историю. Ведь я участник событий от первых шагов советской литературы, все происходило на моих глазах, я видел все это и осознал. Многие в настоящий момент могут написать ОДИН Я: мало-уже остается мастодонтов, которые были очевидцами и современниками тех событий, которые лично знали писателей, совершенно незнакомых современному читателю. <...>

Если бы у нас не было столько врагов и столько дураков, не допустили бы и одного дня, чтобы я заботился, где занять на хлеб, — стыд и позор всем нашим «деятелям». Я маюсь уже не один год, а мне это нельзя, я должен жить, чтобы написать эти книги и еще одну: роман, где все назвать своими именами, сдать его куда-нибудь на хранение — до того дня, когда это удастся напечатать и ПОНАДОБИТСЯ напечатать. Вы только прикиньте и призадумайтесь: есть ли у кого из писателей накопление ненапечатанных рукописей в таком трагически огромном количестве? Меня печатают, но по капельке. Утешают: вот уж реализуете хотя бы десятую долю написанного — и заживете, не только долги уплатите, сами будете давать в долг. Все это звучало бы хорошо, если бы не одно обстоятельство: мне 84 года. Издевкой надо мной выглядят эти утешения, что я разбогатею через пять—десять лет.

Кстати, нет вокруг меня никого, кроме Натальи Борисовны, кто бы — не помогал, нет, — кто бы горел, заражался, волновался вместе со мной, трепетал над каждой строкой, просил бы прочесть написанное мною днем, вечером, ночью, потому что я работаю всегда, кто бы ждал этого чтения с нетерпением. Я не обижаюсь, не сержусь, но чем меньше интересуются хотя бы друзья-раздрузья моими творческими работами (а я далеко не уверен, что все они читают и книги, которые я им дарю. Нет, не так сказал: я уверен — знаю, проверял — что многие не прочли мои книги), — тем больше я отдаляюсь от этих людей, от этих друзей. И у меня все чаще появляется мысль — уехать. Куда? Не знаю. Но хочется как-то поближе к народу и подальше от переутомленной, перезанятой этой интеллигенции: «Пишете, Борис Дмитриевич? Ну какой же вы молодец! А как здоровье?»

Затянулось мое отступление от темы, но слишком наболело, надо же когда-то и где-то высказаться. А теперь и трудно переключиться обратно. Это так же, как в работе: уйдешь в нее и

с того момента весь находишься в той сфере, о которой пишешь. Не только я, но и Наташа долгое время жила в мире Котовского. А «Куликовская битва»? Эту лирическую поэму в прозе я писал вдохновенно и яростно. 9 сентября 1978 года в шесть часов утра закончил работу над ней, но и сейчас не могу выкарабкаться из той эпохи — из XII, XIII, XIV, XV веков.

Вот и тут — не могу выкарабкаться из горьких размышлений о своей судьбе. Чего только не случилось со мной! Как только не мудрила надо мной житуха (ах ты, доля моя, доля, до Сибири довела)! Но я, как видите, жив и сумел даже в тюрьме стяжать некоторого рода популярность и уважение. А вот «на воле» никак не дождусь должного уважения и внимания, напротив — 20 с лишним лет сплошных унижений и оскорблений. Так обюрократилось все за время моего вынужденного отсутствия, так все испохабилось еще больше за следующие годы!

Вот с тревогой жду: говорили, что «Котовского» издадут в каком-то почетном юбилейном виде, с расценками первого издания. Что-то не верится. Ведь если такое признание меня как писателя, то как же объяснить первородное хамство с этим запросто, с кондачка выброшенным из плана Воениздата сборником военных рассказов «Передний край»? Одно с другим не вяжется. А тут еще выкинули, даже ничего не сообщив, рассказ «Честное слово»... Нет, такого не могло быть в 20-х годах, при Ленине, при Воронском, при Фрунзе. Впрочем: а удел всех этих троих, о ком с любовью вспомнилось? Ни один из них не умер своей смертью. Ленина подкосил выстрел Каплан. А Фрунзе, хотя и умер в Кремлевской больнице от внезапного паралича сердца, но я лично — просто как-то чутьем — полагаю, что участь Фрунзе — та же, что и Котовского, что и Блюхера, что погибли они от тех же темных сил, которые отняли у меня одиннадцать лет жизни и тоже чуть-чуть не уничтожили меня.

Тошнехонько мне, больно. Как бы отрешиться от всех неприятностей, обид, выбросить из головы все наносное — и целиком погрузиться в воспоминания? Некогда мне переживать: моя затея делать «синие тетради» отнимает у меня много сил и много времени, очень много. Даже не самый процесс работы, это-то дело привычное. Но, поднимая все в памяти, заново возрождая эти смертельные годы, я, просидев над тетрадью ночь, ложусь спать опустошенный. Даже таблетки не берут. И устал, и спать надо, а сон не идет. И будущее неясно, не очень я верю всем этим Сартаковым, которые улыбаются и туда, и сюда, угождают и нашим, и вашим.

Совсем недавно в связи с намечаемым изданием собрания моих сочинений (которое так и не состоялось) Сартаков благовременно дал мне бой, заявив, что в собрание сочинений могут входить только произведения, издававшиеся минимум два раза. Такого правила нет, по-моему, оно отменено. Но уже заранее делают ходы для ненапечатания трех «криминальных» моих романов. Тут что можно сказать? Боже, спаси Россию! Спасти можно. Но какой

неприличный фарс: на собрание сочинений рекомендуют ничего не смыслящие в литературе индюки из обкомов! Бедная, беспомощная, барахтающаяся в тисках безвременья советская страна и советская литература!

И вот — изволь тут, напереживавшись, рассказывать последовательно, шаг за шагом о самом трудном в моей жизни десятилетии... А какое мое десятилетие было легким? Если взять уже десятилетия по возвращении моем в Ленинград? По сей день ведь живу среди сегодняшних Батыев образца XX века. Как на меня набрасывались и при издании «Котовского», и — еще яростнее — при издании пресловутых трех романов — «Утро», «Навстречу солнцу», «Во славу жизни!» Роман «Утро» спас Прокофьев. Сам лично проследил, чтобы его включили в юбилейное издание в 1967 году (пятидесятилетие Советской власти), сам несколько раз звонил в Лениздат и настоял на своем: роман вышел в свет. Чтобы были напечатаны «Навстречу солнцу» и «Во славу жизни», потребовалось вмешательство ПУРа. Но переиздать эту трилогию не дают никак и по сей день. А ведь эти книги — гимн России, гимн нашему народу, это вся история нашей страны в образах и красках, это не мои слова, так пишут мне читатели. Будь наши власти поумнее, эти книги должны бы издать миллионным тиражом, не дожидаясь моих просьб об этом, а я десять лет обиваю пороги и уже отчаялся добиться толку. В отношении же восстановления эпизодов и глав, выброшенных из этих романов (об арестах, о страшной трагедии культа личности) — и вовсе безнадежное дело...

Пущена издательская деятельность на самотек. А скорее — и того хуже: отдана в ненадежные руки. Если это не исправить коренным образом, то считайте, что напрасно Воронский отдал свою жизнь, строя советскую литературу. А исправить можно — только начав с полного преобразования страны, с наведения общего порядка. Для этого нужны Личности, нужны новые Воронские. Но, увы, ворон вообще больше, чем Воронских, Били-били — и оскудели мы на людей. А чего же было ожидать? Так и должно было случиться. В революцию, в гражданскую войну уничтожены были — с той и с другой стороны — лучшие люди нации. Стихия масс страшна. Уничтожение часто было безосновательно и бессмысленно. Крушили все: храмы, дворцы, музеи, усадьбы, «буржуев», «господ», «золотопогонников», штатских и военных — всех «белых» под одно. Не с той ли поры жестокость пустила корни на нашей земле?

Николай Второй не пользовался любовью подданных. А царицунемку ненавидели всей душой. И все-таки расправа с ними под руководством Голощекина и Юровского — фактически без суда, по-разбойничьи — была безобразна и произвела на народ неприятное впечатление. Я слышал такие рассуждения: «Законность совсем, значит, побоку?» «Допустим, царя и царицу, хотя бы только их. А девочек зачем? И даже посторонних, не коронованных, просто слуг? Даже, кажется, доктора?» И чей-то жесткий голос:

«Если бы только этих! Косят, как траву...» И чей-то вздох: «Запятнали мы себя. Забрызгали кровью победное знамя... Это я слышал не то в трамвае, не то в магазине, то есть я хочу сказать — это разговор незнакомых меж собой лиц, как говорится, народная молва.

Ну, а после... Потерь не счесть! Голод в Поволжье... Раскулачивание и коллективизация... Бесчисленные процессы над «врагами народа»... Война и блокада Ленинграда... Кровавое Ленинградское дело... Под предлогом борьбы за истинно советский строй, за истинно советскую культуру уничтожили сливки общества, цвет науки, искусства, лучших людей всех слоев, всех кругов населения. Истреблены учителя, врачи, студенты, библиотекари — словом, образованные люди, как раз те, кто нес культуру в народные массы. Истреблены лучшие крестьяне, земледельцы, хозяева. Истреблены военные кадры. Процветало насилие. Культивировалась жестокость. Прогрессировало оскудение — на людей, на товары, на духовные и материальные ценности.

Когда вглядываешься, изучаешь, призадумываешься, — обязательно проясняется взор, начинаешь видеть многое, чего раньше не замечал. Но вот в одном явлении еще не разобрались, кажется. Любой солдат и офицер в гитлеровской армии обязательно получал отпуск на побывку домой. Он снова ехал потом на фронт, может быть, его убивали, но его жена уже была беременна, государство сумело возместить урон. У нас после войны никто не пришел и не сел за парты в первый класс, дети не народились своевременно: одни миллионы мужчин были в армии, другие миллионы мужчин были в лагере. Кто по недосмотру властей устроил такое злодеяние? И по недосмотру ли? Наша страна от одной этой преступной акции понесла многомиллионный ущерб, хотя бы никто никого и не убивал. Кому как не женщине спасать народ от вырождения, от пережитков страшной, опустошительной войны, от пережитков жестоких лет сталинского произвола, от всех ушибов, нанесенных народу? Находились отчаянные женщины, ехавшие в войну на фронт в поисках мужчин. В Ленинграде на Бородинской улице был огромный детоприемник — для детей, родившихся от неизвестных отцов. Врачи рассказывали мне, что эти фронтовые младенцы были на подбор здоровяки. Но такой способ возмещения и смены поколений был недостаточен, разумеется. К семидесятым годам, по прогнозу Менделеева, в России должно было быть 400 миллионов человек, а фактически оказалось — 100 миллионов. Вот, какой дорогой ценой оплачивается наша близорукость.

Последствия войны 1941—1945 годов сказываются до сих пор. Послевоенные поколения все еще жидковаты, вялы, ненадежны. И будут ненадежными впредь — до полного изменения цен и народного питания, до повышения материального обеспечения населения в десять раз. Да, я считал бы, не меньше, чем в десять раз, то есть до дореволюционного уровня: я высчитал, что мой отец, учитель городских училищ, получавший 60 рублей в месяц основ-



ного оклада и два раза в год — на Пасху и на Рождество — по месячному окладу дополнительно, плюс подрабатывавший частными уроками 60—80 рублей в месяц, итого 120—150 рублей, — фактически зарабатывал, переводя на наши сегодняшние цены, 1000—1500 рублей в месяц, вот почему и мог прокормить жену, брата Владимира и пятерых детей. Вот когда у нас в стране работы ВСЕХ ЛЮДЕЙ поднимутся до этого уровня, то есть когда поднимется наша экономика, — только тогда и можно рассчитывать на здоровые поколения людей. А в настоящее время, хотя и начинает появляться новая крепкая порода — внуки послевоенных отцов и матерей, выжить им трудно. Выжить, а главное — стать людьми.

Государственный аппарат сейчас разваливается. Социализм-то у нас полный, а карманы, увы, пусты, голодают люди. Всюду — на Дальнем Востоке, в Чечении, на Урале, в Сибири, на Севере. Во многих районах переходят на первобытное устройство: каждый изловчается, чтобы прожить самому, на подножном корме, на своем натуральном хозяйстве — грибы, ягоды, огурцы, капуста, картошка, лук, лесные орехи, подсолнух. И это мелочь, что я лично доживаю жизнь в нужде, а после моей смерти моими произведениями будут ворочать, как золотой жилой, открывая их, как залежи молибдена. Мое горе тонет в огромном горе и бедствии. Мы кричим на весь мир, что захлебываемся от счастья. Но народ в основной массе живет бедно. Вылезьте из своих «чаек», господа правители, оденьтесь попроще, замешайтесь в толпу, постоите в очередях в продуктовых магазинах — и вы услышите откровенно высказанное мнение о вас: вас проклинают и ненавидят. Не верите? Проверьте сами. Только не наводите справки об этом у окружающих вас подхалимов, у которых ладошки в мозолях от постоянных аплодисментов и глотки охрипли — так неумолчно кричат «ура». Проверьте сами, лично.

Народ выворачивается наизнанку, чтобы свести концы с концами, а кучка потерявших совесть заправил (между прочим, и из среды писателей) зажралась, зарвалась, стыдно сказать, но у нас появились уже свои буржуи-ротшильды. Говорят, миллионеров регистрирует милиция. А толк в этой регистрации есть? Надо бы вообще решить: нужно ли человеку единолично владеть миллионом, миллиардом? Я считаю — не нужно, вредно, опасно. А тысячу рублей положить на сберкнижку? Полезно, разумно, честно. Необходимо, мне кажется, определить порядок накопления, установить некий предел, чтобы за гранью какого-то максимума все шло государству. Надо сделать так, чтобы смертельно боялись стать миллионером или миллиардером, чтобы это было стыдно. Можно трудом, умением повысить благосостояние свое, детей, семьи, рода. И то — если трудом и если на благо. А то, что делается у нас, — это ужасно. Вообще диву даешься, как ухитряются все «фюлеры» обрабатывать народ. Обратите внимание, как быстро оскотинились рядовые немцы под «мудрым» руководством Гитлера, как быстро оболванил народ Сталин. Но сейчас кулыт у нас, пожалуй, по-

страшнее прежнего — несколько другого типа, без крови и жертв, но более тлетворный для ДУШ всех живущих.

Сегодня перед нами стоит радикальнейшая задача. Мамай пришел, Мамай здесь. Пора начинать Куликовскую битву. В обозреваемом будущем потребуется выжигать огнем чингисхановские повадки, от кого бы они ни исходили. Вошедший в норму политический бандитизм, коррупция, слияние в методах обогащения мафий (почему-то считается, что это есть только где-то там, за рубежом) — все это требуется вырвать с корнем. Их двигатель в борьбе — деньги: подкуп, наем, взятки, запугивание. Наша сила — в человеческом достоинстве, в патриотизме, в чести и честности, в твердых убеждениях. Нам предстоит спасти страну — так, как она была спасена когда-то Дмитрием Донским, но спасти более кардинально и масштабно: слишком длительно было пагубное воздействие культа Сталина, слишком велик ущерб от Мамаев нового образца, захвативших руководящие посты и доведших страну до полного развала.

Операция предстоит крупная и сложная, но при дружных усилиях всего народа выполнимая. Кто это — Герцен? — сказал, что русский добродушен до зачина? Пора сделать зачин. Но подвижничество требует сосредоточения всех духовных и физических сил. Пьющих вон из рядов, на них нельзя положиться! Трусов — вон! Не осознавших необходимости переустройства, не воодушевленных святой идеей освобождения — вон! Жесточайшая дисциплина и полная направленность на четко поставленную задачу — очищение и возрождение страны, стоящей на краю гибели, — вот где залог успеха.

Зову вас на подвиг, дорогие люди, милые мои соотечественники! Опасаюсь только вегетарианских настроений у тех, кто обязательно, я верю в это, одержит победу, но если не наглупит. Нельзя лить воду в решето, лучше уж в ведро. Я что-то заметил: поймают с поличным, дадут срок... смотришь — а преступники уже гуляют по Невскому. Не сделайте этой глупости. Будьте неподкупны. Будьте бесстрашны. Будьте непреклонны. Не идите ни на какие сделки и компромиссы. Не поддавайтесь ни на какие уловки. Преступники, оккупировавшие страну, вертки и скользки, как угри, опасны, как самые ядовитые змеи, лишены совести, не ведают жалости. Помните это. Нельзя на удар ножом отвечать: ай-ай-ай, как вам не стыдно. Удар ножом надо опередить на одну секунду. Специалистов поножовщины и всех содержащих, оплачивающих их разгул поздно перевоспитывать, бесполезно выселять куда-то, — их надо истреблять для всеобщего блага. Только без слюнтяйства! Например, если бы взялись выводить тараканов: прилично ли было бы выскрести их из всех щелей и лопатами швырять за рубеж? Нехорошо по отношению к другим народам (там и своих паразитов хватает), глупо в смысле пополнения тараканьего поголовья иностранного образца. И главное — если их оставлять — наползут снова. Я — за то, чтобы защищаться. А защищаться — значит нападать. Старая истина. И нападать не

с полумерами. Только истребление преступников всех рангов, только уничтожение многоголовой гидры, несущей отраву, злово-ние, гниль, даст народу силы возродить хозяйство и построить истинный социализм. Но процесс это долгий и трудный. А еще дольше придется залечивать, изживать остаточные явления нашей сегодняшней системы: «отвычку» от труда, равнодушие, неверие, вещизм, алкоголизм, наркоманию — и возрождать утраченные, повергнутые в прах человеческие черты, — такие, как честь, благородство, честность, совесть, справедливость, доброта, милосердие.

Чем больше я размышляю о сегодняшнем дне, тем яснее для меня становится, что на мне, как на писателе и советском человеке, лежит еще одно обязательство, кроме того, что я наметил. Да, конечно, я должен написать «синие тетради», где с советским подходом к оценкам рассказать о том, что видел и пережил в тюрьмах и лагерях. Но потом я не менее обязан описать и то, что видел и вижу после лагерей — в 1956—76 годах и до сегодня. Тут ведь надо раскрыть все, что наполняет наши дни, но написать с точки зрения — как бы это объяснить? — с точки зрения тонкого наблюдателя, я бы даже назвал — с точки зрения разведчика, так как я многое вижу более зоркими глазами, чем заурядный житель.

Можете представить поэтому всю мою горечь, все мое отчаяние: делается все, чтобы меня извести, а мне нельзя это, задуманное мною очень нужно народу. И вот что я понял сейчас, в эту минуту: надо совершать большие, значительные дела — тогда не будет обидно, что тебя преследуют, травят. Даже почетно: ведь становится очевидным, что мелкой сволочи, бесчестным интриганам и затаенным врагам делаются невыносимыми — а значит, и подлинно полезными, крупными, весомыми — твои действия и высокие твои убеждения. И я должен стиснуть зубы и терпеть, терпеть и, отмахиваясь от тягостных дум, — работать. А ведь бывают моменты, когда хочется бросить все к чертям собачьим, выкинуть все рукописи, уехать в глушь, в деревню и служить сельским библиотекарем или директором самодеятельного театра. И растить у себя под окнами редиску и лук, картошку и черную смородину.

Сажу я ночами. Думаю. Думаю-думаю, и так мне жалко людей. Как они справятся со всеми проблемами, не знаю. Лучше бы справились, я думаю, люди моего, ну, не моего, так все-таки старшего поколения — волевые, непреклонные, закаленные, сильные. Но, скорее всего, главные дела выпадут на долю нынешней молодежи. А мы... Мы что? Мы умрем, скорбя, плача кровавыми слезами. Но я осмелюсь все-таки о себе сказать: сделал, что мог. Хотя и травили меня, и загоняли в тюрьму, и зажимали мне рот, и угрожали, но я сделал, что мог, мне можно и не стыдиться.

На экране телевизора, на фото в газетах и журналах, на улицах, в общественном саду, в трамвае, в поезде — всюду я вглядываюсь в человеческие лица: как будто хорошие люди, хочется верить в них. Они должны одолеть нашу беду. Они должны победить. А жаль все-таки, если не увижу финала. И я готов кричать,

кричать, пока жив: спасайте Россию! Не жалейте себя, не трепещите за свой покой, за свою жизнь — делайте что-то, спасайте! Время пришло серьезное, строгое. Пришла пора. Встать! Суд идет!

Не сердись, неведомый мне мой читатель, если таковой когда-нибудь найдется, за эти длинные рассуждения и отступления от основного повествования, за то, что я пишу так разбросанно. То, что есть в этой тетради, пожалуй, следует назвать черновиком, по которому писать бы все заново. Но у меня уже нет времени переписывать, успеть бы хоть как-то зафиксировать то, что мучает-терзает меня. Ведь эта моя тетрадь — и воспоминания, и дневник, и завещание. А некоторые вещи всплывают в памяти внезапно, думаешь — не запишу, так после и не вспомню...

Однако на чем я остановился в основной сюжетной линии? Кресты. Тема богатейшая, что-нибудь да забуду рассказать. Например, о третьем корпусе в Крестах, совершенно обособленном.

Ну, такое, действительно, могло быть придумано только при Сталине: крупных инженеров, конструкторов, изобретателей сначала пугали обстановкой тюрьмы, камеры, существованием следователей типа Кулакова (между прочим, кто-то объяснял мне, что у следователей было безвыходное положение: признает он человека зря арестованным, ни в чем неповинным — ему мигом прилепят притупление бдительности и самого его, голубчика, упекут в исправительно-трудовые лагеря), — а потом помещали в особый корпус. Это было красивое, не тюремной масти здание, воздвигнутое на территории Крестов, за высокими каменными стенами. Там и жили годами крупные специалисты, работавшие на военное ведомство. Они были арестанты, но привилегированные. Их и кормили отлично, и у них там были комнаты, а не камеры. Однако они в то же время были в тюрьме. Их никуда не пускали, но прогулки у них были не ограничены, и гуляли они без надзирателя. Они «сидели», но у них были мастерские, ватман, вообще все необходимое для работы. Что они там изготовляли, не знаю и не старался узнать. Раз в неделю к ним приходили на сутки жены.

Вообще-то здорово? В смысле обеспечения секретности — надежней не придумаешь. Никто не проболтается. Никто не продаст чертежей врагу. Никто не подслушает, не подглядит. Никто не украдет. Ну, жены... Но ведь был и за ними досмотр... Жестокое, хитро созданное конструкторское бюро! Может быть, таких было много и только для меня это удивительно? Но факт тот, что в недрах Крестов я такое здание видел.

Я, конечно, продолжал заботы о моей пастве. Зима кончалась, веяло теплом. Теперь мы не ходили длинной вереницей из многих камер по кругу. Во дворе был сооружен громадный загон, это по рисунку походило на разрезанный пополам апельсин: большие вместительные треугольные отделения, сходящиеся к центру, каждое с дверью, запирающейся на замок. В эти отделения специальный надзиратель и размещал нас — по одной камере в каждое стойло.

Нашего прогулочного надзирателя звали Борис. У него было страшное лицо — внешне обыкновенное продолговатое лицо, бледное, тюремного оттенка, обрамленное черными волосами, но в темных глазах его крылась какая-то угроза, опасность. Не могу объяснить, но мне всегда казалось, что этот человек прошел через все преступления, существующие в кодексе, что, во всяком случае, он убийца. Но все это в прошлом, все забыто, а теперь он служит в тюрьме, свои обязанности выполняет четко, быстро, к арестантам относится, как и все в Крестах, — безразлично. Размещает он нас без злобы, спокойно, как размещал бы, скажем, овец или свиней.

Моя «Северная Пальмира» прилась ему по душе. Утром, сразу после завтрака, Борис направлялся напрямик к нашей камере. Отпирал дверь и провозглашал:

— На прогулку!

А я его встречал с открытой коробкой папирос в одной руке и спичками в другой. Он не жадничал — брал одну-две папиросы, закуривал, и мы гурьбой выходили из камеры, шествуя через внутреннюю боковую дверь во двор. Нашу камеру он размещал первой. Все пользовались прогулкой 15 минут, а нас он оставлял во дворе вплоть до самого обеда. Это была драгоценная льгота.

Но я не видел, чтобы обитатели камеры № 783 были как-то особенно благодарны мне. Вероятно, они считали, что на то я и староста, чтобы ухитриться что-нибудь делать на общее благо. А я и не ждал благодарности, это только сейчас я вспомнил, что меня слушались, меня уважали, но находили вполне естественным, что я лепил для них шахматы и подкупал папиросами прогулочного надзирателя. И никогда — это я могу сказать твердо — я и не думал претендовать на какое-то исключительное отношение. А что я был изобретателен, находчив, деятелен, так это уж такова моя натура.

Зато я и видел больше, чем другие, и успевал везде, даже случилось вступать в разговоры с «туземцами» — основным составом тюрьмы, ворами и мазуриками. Один такой паршивый шкет ухитрился через щель в дощатой загородке прогулочного стойла пробормать мне свистящим, хриплым полупшепотом:

— На фиксу сыграем?

Это он предлагал мне перекинуться с ним в картишки на мою золотую коронку. У них, как я много раз убеждался, поразительно развита наблюдательность. Воровской глаз запечатлевает сто предметов, где мы заметим вряд ли десять. Киплинг считал такое развитое умение видеть — обязательным для разведчика.

А вообще не думайте, что стать вором — только захотеть, и готово. Нет, у них существует своего рода наука и своя техника. А ругаться они специально учатся, я наблюдал это лично. Вообще я хорошо изучил блатной мир. Воры, жулики, грабители, убийцы одну песню поют: они утверждают, что мир создан для них, только они и представляют какую-то ценность, а все остальные люди — мусор, черти, фраера — материал для ограбления, для лов-

кого обмана, а то и для убийства — иной раз ради трех рублей, а главное, — ради того, чтобы добыть паспорта, справки и прочие документы — ксиву. Это убеждение входит в плоть и кровь, воры на самом деле верят, что они особая порода, что они избранные, что им все позволено.

Одно из врезавшихся в память происшествий, которое смаковала вся тюрьма, — это картежная история.

У воров требуется играть в карты честно. Поймают в шулерстве — убьют. На смертную казнь обречен и так называемый заигранный. Это человек, который играя в карты, сделает ход, проиграет, а денег у него, оказывается, уже нет. Такой ход картой без обеспечения карается смертью. Все это знают, и заигранные встречаются очень редко.

И вдруг объявился заигранный в Крестах...

Общее волнение, суды-пересуды. «Главные воры» — воровская аристократия, с именами, которые гремят на весь блатной мир, — отправляются вниз, в единенную карцерную камеру, на экстренное совещание. (Тут поразителен даже сам факт, что арестанты спокойно идут в тюрьме на совещание, а надзиратели без всяких-всяких провожают их для этого в специальное место.)

Вскоре вся тюрьма узнает (а узнают там, я уже говорил, каким-то образом все и все до мельчайших подробностей), что постановили, ввиду молодости и неопытности заигранного, дать ему задание, которое заменит смертную казнь. Задание было несложное: сбросить на сетку надзирателя, когда камеру утром поведут в уборную «оправиться». Но разве этот заморыш мог справиться с высоченным, отборным здоровилой-надзирателем? Заигранный успел только толкнуть надзирателя, и тот немедленно избил его, и даже милостиво избил, наверное предупрежденный заранее, что мальчишка этот нападет на него.

Опять старшие воры отправились на совещание. По-видимому, исключительно чтобы позабавить население тюрьмы, дали заигранному второе задание: ухитриться пробраться в гараж и нагадить в собственную машину начальника тюрьмы. С этой целью заигранного перевели в ту камеру, которую в этот день вели в баню. А в баню надо было идти по тюремному двору мимо гаража. На что был ловкий и юркий этот Петюнчик, — так звали заигранного, — но улизнуть в гараж ему не удалось. Надзиратель сцапал его, когда он уже готов был шмыгнуть в настешь открытую пасть гаража. И опять его были.

В другой раз куда ни шло — не удалось, так не удалось. А на этот раз вопрос ведь стоял серьезно: жить Петюнчику или не жить. И опять старшие воры собрались внизу решать, что делать с заигранным. Дали ему третье задание, но заведомо невыполнимое да и само по себе означавшее смерть: ему приказали убить главного надзирателя, у которого пост был в центре металлического круга корпуса, внизу, у главного входа в корпус. Если бы Петюнчику удалось это сделать, его бы насмерть забили надзиратели. Но он, конечно, не выполнил этого задания.

Старшие воры снова совещались, и на этот раз не было различных мнений: смерть заигранному — единогласно постановили они.

Не подумайте, что на роль палача избирается какой-нибудь богатырь, силач, Микула Селянинович. Обычно это выполнял самый захудалый фитиль-доходяга. И он с гордостью принимал это поручение.

Его перевели в камеру, где находился заигранный. Вероятно, при попустительстве надзирателей он ловко и незаметно приволок со двора острый осколок гранита — увесистый камень, отсыревший и с одного боку зазеленевший не то плесенью, не то какой-то краской. Я так подробно знаю об этом потому, что назначенного на роль убийцы перевели к заигранному, конечно, не одного, а прихватили троих из нашей камеры — первых попавшихся фраеров, что помогало обмануть осторожность Петюнчика, который все же надеялся, что пошутят-пошутят с ним и в конце концов помилуют.

Ванек, назначенный (именно, назначенный, тут была дисциплина, и дисциплина железная) на такое ответственное дело, важничал и пыжился от гордости. Все укладывались спать, а он затеял с одним из наших парней картежную игру (сопротивляться было бесполезно), быстро выиграл у него ремень, тотчас без всяких церемоний забрал его и затянулся им сам.

Камера уже спала. Не спал только Ванек и наш парень, горевавший о своем ремне. Он-то и видел собственными глазами, как Ванек достал камень, спокойно подошел к спящему Петюнчику и разможил ему голову. Наш паренек чуть не потерял сознание от страха, не верил своим глазам. А Ванек прямо-таки захлебывался от гордости, от значительности момента. Он знал, что вся тюрьма, несмотря на поздний час, прислушивается и не спит. Ванек вразвалку подошел к тюремной двери, старательно вытер подмокший нос, поправил выигранный в карты ремень и этим же камнем громко застучал в дверь.

— Чего там? — подошел надзиратель.

— Уберите труп! — важно, во всеулышание распорядился убийца. В этом у него был весь фурор, весь смак содеянного: из простого Ванька он превращался в фигуру. А расстрелять его не расстреляют: он — несовершеннолетний.

Это было мое последнее впечатление от Крестов.

В августе несколько сот заключенных вывели из камер, погрузили в фургоны и привезли на окраину Финляндского вокзала. Если встать у главного здания внутри вокзала и повернуться лицом к западу, к Карельскому перешейку, к Белоострову и Зеленогорску, то это будет с правой стороны, где-то за депо и мастерскими. Там нас ждал длинный эшелон теплушек с зарешеченными окнами.

Какие-то тюремные офицеры пришли, оказывается, специально посмотреть на меня.

— Где этот... пи-сатель? — с издевкой спросили они.

Надзиратель ткнул меня в бок:

— Вот.

— Скажи пожалуйста! — удивились они. — Серьезный.

— Проходи, не задерживайся!

Этот окрик относился ко мне. Я вскочил в вагон. И вскоре поезд был загружен и тронулся по круговой дороге на Московский вокзал. Тюремщики старались перехитрить родственников, которые уже пронохали об отправке заключенных и толпились там, на Московском, надеясь повидать нас при посадке. Они бегали куда-то справляться, одни плакали, другие обсуждали что-то между собой и проклинали «извергов» и «супостатов». А нас даже к застекленным окнам теплушек не подпустили.

И начались мои скитания по этапам и лагерям, началось открытие на каждом шагу нового, неведомого мне океана горя и унижений, бед и страданий. Как я понял позднее, то, что я пережил в тюрьмах, были еще цветочки. Ягодки были впереди.

Но и от «цветочков» можно было свихнуться. Только, перечитав написанное, я вижу, что при моем прирожденном неунывающим характере я неверно изобразил нечеловеческие мучения, испытанные мною и в карцере, и в долгие часы на допросах, и вообще во всем тюремном существовании, оставляющем отпечаток на всю жизнь. Да, я стирал салфетки и носовые платки, мыл стены камеры, да, я изучал малярное дело и создал в застенках жутких Крестов недурненький хор, голоса которого проникли даже сквозь шкуру тюремных надзирателей и разбудили в них что-то, что и составляет суть человека: душу. Но это были мои способы выжить, мое преодоление неизбежной тюремной тоски, совсем особенной, сосущей, смертной. То, что я видел своими глазами в Крестах и на «Шпалерке», сейчас мне представляется приснившимся кошмаром. И я сам себя обманываю, рассказывая о тюрьме только необычное и сравнительно веселое: о моих рисунках для наколок да о пении. Не хочу в этих записях изображать страсти и муки, нагнетать ужасы. Поэтому даже не упомянул, например, о том, как мне во время допросов ломали пальцы на ногах. (Я и по сей час ношу обувь на три-четыре размера больше — так изуродованы мои ноги.)

Я вообще не люблю рассказывать о страданиях. Всякого по-видал. Но не погиб? Выжил, хотя и вернулся через одиннадцать лет с цингой? Ну и все. Когда меня донимают расспросами, я отсылаю к «Повести о пережитом» Дьякова, а большею частью отшучиваюсь: считаю, говорю, свое пребывание в тюрьмах и лагерях творческой командировкой в преисподнюю. И рассказываю своего рода «лагерный Декамерон» и всякие лагерные хохмы. Вроде того, как прибывшего этапом новичка окружают любопытные: «Сколько тебе дали?» — «Пятнадцать лет». — «За что?» — «Да ни за что!» — «Врешь, ни за что дают десять!»

В «Екклесиасте» говорится, что и псу живому лучше, чем мертвому льву. Не знаю, как псу, а человек — если жив — должен жить, и жить помогают чувство юмора, запасные профессии и вот



такая, как у меня, неунываемость, а также девиз того же «Екклезиаста»: «Суета сует и все суета и томленье духа!»

Описать же пережитое все-таки необходимо. Чтобы наглядно показать: человек прочных убеждений ни при каких обстоятельствах не согнется и не переметнется. У меня достаточно хорошее зрение, чтобы разглядеть, из какой трубы дым идет. Я отлично понимаю, что были среди арестованных и в самом деле преступники — диверсанты, шпионы, растратчики, которых и следовало сажать. Но в отношении основной массы репрессированных эта акция была предпринята сознательно. Меня реабилитировали, и я вышел из всех испытаний советским человеком, каким и был. А в чем-то, как это ни парадоксально звучит, эти годы обогатили меня: я стал умудреннее, глубже познал жизнь. До дна.

Уж там-то, в тюрьмах и лагерях, я соприкоснулся с самыми невероятными, самыми невиданными людьми, каких нигде в другом месте и не встретишь, особенно в такой концентрации и таких противоположных полюсов: с революционером-ленинцем Хейфец-Гуральским и прожженным негодяем Берманом-Гульманом (выйдя из лагеря по окончании срока, он женился и взял фамилию жены — стал Федоровым); с доброжелательным «опером» Гайнановым (о нем речь еще впереди) — и совсем девчонками, дочерьми атамана Семенова; с профессиональным музыкантом Яковом Яковлевичем Черниковым, приехавшим из Пекина и тотчас арестованным, — и баптистом, колдуном Кузьмой Ивановичем; с доктором Манвеллом Хачатуровичем Мартиросяном — и вором-асом Володей Соляншко или уголовницей Лидой, по прозвищу Конь-Голова... Уж там-то я наслушался самых необыкновенных вещей от самых обыкновенных людей: солдат, арестантов, ночных сторожей, а также от невидимок блатного мира — жуликов и бандитов, работающих на фуфло и побегушников...

Не всякому случалось, например, пить чифирь в обществе «блатной аристократии», то есть наиболее крупных, с солидной практикой грабителей и убийц. Вы спросите: за что же такой почет мне — самому, что называется, непроходимому «фраеру», то есть человеку честному, добропорядочному, ни с какой стороны не причастному ни к воровству, ни в картежной игре, ни к наркомании? Ведь в этом своего рода обряде — распитии крепкого чая (чифиря) из общей чаши, передаваемой по кругу, — участвовали не все представители даже их воровского мира: мелким ворышкам-щипачам, которые носят меткое название «шестерок», и женщинам-воровкам не разрешалось занять место в кругу, они были только на роли прислуживающих во время этого священнодействия. Так за что, вы спросите, мне оказывался такой почет, что я был приглашен в эту компанию? Представьте, за мои поэмы! Да, да, за мои поэмы, которые я читал на мною же организованных концертах самодеятельности и которые эти мазурики переписывали и передавали друг другу в замусоленных тетрадках!

Впрочем, я сам не знаю, чем я заслужил такое уважительное отношение с их стороны. Но факт остается фактом, хотя и отнюдь

не вяжется с представлением о воровских нравах. Ведь эти типы даже в лагерных условиях ухитрялись убивать ударом ножа, грабить, сквернословить, а также каким-то образом добывать спирт и «марфушу», то есть «калики-моргалики», то есть наркотики, они умудрялись носить в кармане — вместе с табаком и хлебными крошками — шприц и колотья без всяких там дезинфекций, прямо через одежду. И эти же потерянные, отпетые люди вдруг среди общего барачного гвалта давали команду: «Тихо! Русланова!» — и при воцарившейся полной тишине благоговейно слушали, как Русланова по радио исполняет свои знаменитые «Валенки»...

Один из этих людей — я уже рассказывал об этом — нанес мне недавно визит и подарил своеобразный словарик нового воровского жаргона. Каково? Невероятно? Хотите верьте, хотите нет, но это было. И ключи от кладовой, врученные мне, арестанту, на «Шпалерке», и картина, нарисованная мною на стене тюремной камеры, и отмеченный в Крестах 50-летний мой юбилей, а в дальнейшем — работа на лесоповале, варево из гальяна, сочинение романа «Мы мирные люди» в обстановке лагпункта, «выборы» в лагерный культсовет — все это было, и рассказать обо всем этом — мой долг.

Вот написал сейчас про ключи от кладовой на «Шпалерке» — и вдруг вспомнилось совсем о другом: о том, как какое-нибудь мое произведение всплывало иногда при самых экзотических обстоятельствах. Моя «Голубая река», к примеру, два раза упоминалась в курьезной обстановке. Запишу эти посторонние, но и не совсем посторонние истории.

Один случай был в тюрьме на Шпалерной, забыл об этом рассказать в соответствующем месте. Помните? Я нахожусь в рабочей камере. У меня ключ от кладовки со всевозможными ремонтными материалами. И вот слышим — отпирают дверь нашей камеры: «Четверикова вызывают». Что такое? Заглядывает офицер тюремного ведомства:

— Это я вас беспокою. Мне выписаны на ремонт квартиры белила, мел, голубая краска. Вас не затруднит пойти со мной и выдать эти материалы?

Вы только обратите внимание, какой не тюремный стиль: «Я вас беспокою»... «Вас не затруднит»...

Я прячу улыбку и иду, позвякивая ключом.

Мы шагаем рядом. И вдруг слышу:

— Читал «Голубую реку». Здорово написано.

Я польщен.

— Очень радует меня. В этом здании не так много сыщешь людей, которые вообще читают книги.

— Нет, почему же. В нашей библиотеке есть несколько ваших книг. Я слышал, что ваши книги уничтожают... Ну, у нас-то никто не посмеет тронуть. А тем более мою личную библиотеку.

Но тут мы дошли до каптерки, разговор прервался. И только уходя с порядочным грузом, офицер пробормотал не очень громко:

— Уверен, что у вас все закончится благополучно.

Мы раскланялись, и я вернулся в камеру.

Не правда ли, это вознаграждение писателя за труды?

А в лагере, у чертей на куличках, в Хабаровском крае, вызывает меня оперуполномоченный (для вызова используются у них мальчишки на побегушках — тоже, конечно, зе-ка). Обычно меня вызывал «опер», когда приходила почта: на мне была приятная обязанность вручать письма. Но на этот раз письма письмами, а оказывается, этот человек захандрил, и ему хотелось просто поговорить по душам. Это у нас водилось. Конечно, и я тосковал как зе-ка. Но иногда и они тосковали. Они понимали все, в частности, понимали, что в лагерях самое меньшее половина людей сидит ни в чем не повинных. И вот опять довелось услышать похвалы и опять о «Голубой реке»:

— Вы бывали на Севере? А я читаю и думаю, где вы получили материалы? Так великолепно все описано! И на Печоре были? Ах, в Вологде и под Архангельском? На лесозаготовках? Тоже как сосланный? Нет? Ах, по командировке Горького? Вот как... Вы говорите — в Саламболо и Лесной бирже? Не слышал таких... Так, так, так...

Этот почитатель моего таланта отдал мне однажды без всяких расписок сто рублей:

— Я имею право отдать кому найду нужным, я в этих деньгах не отчитываюсь. А я вижу, вам туговато приходится, как бы цингу не нажили. Словом, об этом нечего больше говорить.

Цингу я так-таки заработал, а потом зубы у меня стали выниматься с корнем безболезненно и как-то странно. А вот такие случаи, когда меня подерживали небольшими суммами уполномоченные ГПУ — их арестанты называли «кум» — со мной за 10 лет бывали еще раза два. Они говорили мне смущенно:

— Тут поступили деньги — решил отдать их вам... Хочется уберечь вас, вижу, что сидите за так... А ведь талант? Конечно, это мелочь, но у нас вообще средства небольшие. Извините нас.

Я всякий раз был в полном недоумении, пока не понял, что среди наших охранников, вообще среди чекистов в лагерях есть звери, садисты, но есть и настоящие люди. И не только в лагерях. Везде. Были типы вроде Андреева, служившие верой и правдой темным силам, действовавшие руками многочисленных Кулаковых, но и сами по локоть в крови своих жертв. Были даже такие, что отыскивали богатые семьи, собирали о них сведения, — ну, скажем, что кто-то в семье бывший офицер, — сажали всех в тюрьму, расстреливали и по приговору «с конфискацией», забирали всю их обстановку, все имущество к себе. А были в органах — и в Ленинграде, и всюду по стране — честные, порядочные люди, страдавшие от творящихся бесчинств, но не могущие им противостоять, а иногда даже и сами оказывавшиеся в роли потерпевших, репрессированных. Мне, в частности, и в тюрьме, и в лагере встречались всякие, но запомнились почему-то больше хорошие.

Вот первый опер, которого я там увидел, — это на станции Известковой. Интеллигентный, скромный. Однако в его голосе звучала ярость, когда он спросил:

— Ваши вещи, изъятые при поступлении в тюрьму, вам отдали? Конечно, нет? Это разбойники с большой дороги!

— Да какие там у меня вещи... Золотых часов не было.

— Все равно, это ВАШИ вещи, они должны быть у вас!

— Чего уж теперь...

— Я пошлю им затребование — пришлют как миленькие!

С одним оперуполномоченным — Сайфуллой Шарафуллиновичем Гайнановым — у меня довольно долго была переписка, когда я вернулся в 1956 году в Ленинград, и он даже бывал у меня на Невском, где я жил года четыре до получения квартиры. (Жив ли он сейчас? Когда он приезжал ко мне из поселка Плюссы Псковской области, где в то время жил, то рассказывал о своей болезни, и вид у него был тяжело больного.) Я подробно расскажу об этом Гайнанове позже. А пока только несколько слов, раз уж упомянул его фамилию. Гайнанову было поручено, по сути дела, охранение меня и Дмитревского, когда нам разрешили писать роман. Это в лагере-то специально строгого режима, где письмо разрешалось писать один раз в полгода!

Нет, чувствую, что надо пояснить подробнее.

Это было в начале 1953 года, когда меня и бухгалтера Василия Васильевича Лукашевича, «впавших в немилость» у жены начальника лагпункта Тарасюка, отправили этапом с 058-го лагпункта на 05-й, они довольно близко один от другого. И вот поместились мы на новом месте в бараке с двойными сплошными нарами на 96 человек. Старостой барака был некий журналист Владимир Иванович Дмитревский, которого я не знал прежде. По его идее мы и задумали писать роман. Подали заявление начальнику Управления полковнику Евстигнееву и неожиданно даже для самих себя получили разрешение. Я пробовал приспособить Дмитревского и поручал ему писать какую-нибудь сценку или главку. Но оказалось, что этот опытный журналист-международник писать роман совершенно не способен, и мы с ним договорились, что я буду писать, а он — заботиться, чтобы были чернила и бумага. В 1954 году его перевели на другой лагпункт, а я, закончив роман, честно поставил на обложке две подписи: Дмитревского, так как это его идея и его хлопоты, и свою. Позднее по этой книге «Мы мирные люди» Дмитревский был принят в Союз писателей, хотя гораздо большим моим соавтором в данном случае был Хейфец-Гуральский, который был натуральной «ходячей энциклопедией» и консультировал меня по всем политическим вопросам, давал разные справки по поводу жизни и быта в западных странах да и у нас.

Фамилия Дмитревского даже первой стоит на книге — по алфавиту, и в библиотеках — мне говорили — часто употребляют именно его как автора этого романа. А я еще до издания книги предвидел это и думал, что вот выйдет в свет этот роман, написанный мною и пять раз переделанный мною по требованиям издательства, а Дмитревский будет ходить и говорить, что вот он написал роман, правда, там на обложке упоминается еще и Четвериков, но кто

фактически писал его? — конечно, он, Дмитревский. . . Ну и пусть! Ведь не поскупился я и позволил Дьякову в книге «Повесть о пережитом» мои личные переживания изобразить как переживания Дьякова? Например, никаких галлюцинаций в тюрьме у него не было, это у меня было, когда я держал десять дней голодовку на смерть и за эту попытку умереть был посажен в «темный» карцер. Не выбрасывали Дьякова из вагона ударом в спину. Это было со мной, когда меня привезли на лагпункт 05 в Озерлаге. Нас выбрасывали конвоиры не по злобе, а потому что поезд стоял на этом полустанке пять минут, а надо было выгрузить 30 зе-ка, сдать их лагерному конвою. Я благополучно приземлился в снежный сугроб, а затем нас в ночной темноте гнали на лагпункт с обученными лагерными овчарками, овчарки непрерывно лаяли и хватили за ляжки, если кто отставал, а конвоиры неумолчно кричали, матерились, смертельно боясь, что в темноте кто-нибудь совершит побег, а им — отвечать. Они походили на погонщиков стада. В вагоне у меня отняли чемодан, и я волочил свои вещи в мешке и совершенно выбился из сил. Когда нас впустили в лагерный двор и подвели к бараку, он оказался на замке. Мне удалось как-то открыть замок, и мы ворвались в барак и в темноте бросились на голые доски нар. Это был блаженный миг! А встречал нас и довел до барака заключенный — комендант Мартынов, с одной рукой. . . Вот о Тодорском Дьяков писал, по запискам самого Тодорского. А я отдал ему свои записки для использования. Сам Дьяков пронырлив, но бездарен. И все же я позволил ему присвоить мои переживания, лишь бы это попало в печать. Считаю, что правильно сделал. Так и с Дмитревским. Опять-таки — ну какой мне ущерб? Книг у меня и без соавторства полно, а выйдут «Мы мирные люди» — думал я — и, кто не дурак, разберется, чье это произведение, а кто не разберется — ну и что?

Гомеопатическая подлость — мелкие, почти что проходящие незамеченными подлые поступки, при помощи которых человек преуспевает, — не редкое явление. И, что поделать, таков Дмитревский. Таков по сути и Дьяков, самовлюбленный со свиноподобной физиономией человек с крайне скромными запасами ума, говорящий исключительно о себе, о своей книге, о своем желудке. Как-то он звонил из Москвы, просил достать путевку на три дня в Комарово — для свидания с Фарфелем, его редактором. Наташа сообщила ему, что у нас бешеная жара, так что у меня даже был спазм сосудов головного мозга. Дьяков воскликнул: «Жара? В чем же тогда мне ехать?» В этом эпизоде — весь Дьяков. Его повесть «Годы молодые» я еле заставил себя дочитать. Эпиграфом у него слова К. Маркса: «Несмотря ни на что, я буду идти к своей цели». И Дьяков идет к своей цели. Но как? Угождай. Авось, простят и бесталанность, и недостаток ума. . .

Да, но речь у нас не о Дьякове, а о Дмитревском. И даже не о Дмитревском, а о Гайнанове. Так вот. Роман «Мы мирные люди» был издан дважды — в 1960 и 1966 году — с посвящением С. Ш. Гайнанову, потому что он не только охранял нас во время

работы над романом, но и тайком вынес рукопись за зону, когда она была закончена, и отправил ее в Москву, в адрес К. Симонова. Это ли не хороший опер?!

Были, конечно, и среди уполномоченных всякие-разные. Да и сами зе-ка были пестрого состава.

Я видел так называемых старых большевиков и дружил с ними. Их было много, но фамилий я не помню, и не принято было там называть: зе-ка — и все тут. Все боялись и в лагере доносчиков. Старые большевики держались кучкой. Они посажены были на бессрочное время, до конца жизни. Кончался срок — им там же, на месте, объявляли новый, попросту вызвав в контору: «Распишитесь». Помню, когда нам привозили кино, они громко хохотали над сталинскими фальшивками. Действительно, эти картины были нелепы и бесстыдны.

Было в лагерях много «язычников», то есть кто сидел за анекдот или «крамольное» высказывание в кругу друзей. А много было просто людей, ничего не смысливших в политике, но не враждебных, воспринимавших арест и отбытие срока как несчастье, как нечто вроде заразной болезни: заболел — значит, терпи, пока не выздоровеешь или не умрешь.

Смерть и в годы блокады, и в лагере выглядела иначе, чем у всех людей «на воле». Смерти не боялись, хотя и не жаждали умереть. Был вместе со мной в лагере один человек из северных или сибирских народностей, он вдруг объявил, что умрет через три дня, — так, оказывается, выходит по гороскопу, а он раньше неправильно посчитал. Лег, пролежал три дня и спокойно так умер.

К слову — о гороскопах. В 1947 году в лагере на станции Известковой я встречал людей, долго живших за границей. Они уверяли нас, что на Сталина составлен гороскоп и что Сталин умрет в 1953 году. Мы смеялись над ними и говорили, что так соврать удобно: вряд ли мы в 1953 году все будем вместе — кто умрет, кого перебросят на другую колонну, — поди проверь!

Перебывал я в десятках лагерей. На станции Известковой, на нынешней линии БАМ, где мы построили около Дуссе-Алинского перевала двухкилометровый тоннель, и я участник этой стройки. Затем в лагере на железнодорожной линии Известковая—Ургал, на пересылке в самом Ургале. Потом в Александровском центре в Иркутске, в городе Тайшете на пересылке и поочередно в двух лагпунктах на линии Тайшет—Братск, в лагпунктах 058 и 05... Спасал нас труд. Кто работал, тех — я уже говорил об этом — старались кормить пусть дешевой пищей, но такой, чтобы человек не ослаб и мог работать. Государство получало армию дешевой рабочей силы — бесправной, послушной и усердной. А люди в лагерях благодаря труду сохраняли самое ценное: жизнь.

Но погибли в лагерях многие миллионы. Когда в одном лагере — руками зе-ка, конечно, — расширяли площадь лагпункта и заменяли стены, окружающие лагерь, вышиной в два человеческих роста и опутанные колючей проволокой, — всюду попадались чело-

веческие кости. Деревянный грубо сколоченный ящик-гроб назывался у нас «деревянный бушлат».

Однажды меня включили в бригаду могильщиков. Нас привели к месту захоронения, и я увидел большое поле, утыканное какими-то палками. Это и были могилы наших собратьев. На могиле зек-а втыкали палку с прибитой к ней дощечкой, а на дощечке — только номер. (Например, мой номер, написанный у меня на спине и на правом колене, был АЕ-513. Я сам же и написал его на белой тряпочке масляной краской и сам же пришел.) Эти воткнутые палки вскоре падали, а потом и вовсе сгнивали.

Меня послали копать могилы по настоянию жены начальника лагеря Надежды Фроловны Тарасюк. Сволочь № 1. Даже экстр. О ней еще будет речь. (Недавно я узнал, что майор Тарасюк умер, а мадам жива и вырастила сына. Интересно, каков будет сын?) Надежда Фроловна уже не раз таким манером избавлялась от неугодных ей людей: незаметно показывала конвоирам обреченного, кого за что-то невзлюбила, и они пристреливали этого человека — якобы «за попытку к бегству». Старая, давно вошедшая в практику формула! Так был убит Королевский, он работал у нас зубным врачом. Надежда Фроловна ходила к нему, он был красивый, молодой, рослый и ему отвели отдельное помещение. Но потом они поссорились, и он имел неосторожность пригрозить, что напишет в Управление о порядках на лагпункте. Вскоре Королевский попросил меня спрятать его собственные медицинские книги: «Меня, наверно, убьют. Назначили на лесоповал. Я попытаюсь не выйти на работу. Надеюсь, что меня за отказ посадят в карцер. Наглотался сейчас люминала, буду в карцере спать». Но его не посадили в карцер, а схватили, бросили в телегу и увезли на место работ. Из-за люминала он был почти невменяем. В лесу конвоир подошел к нему и выстрелил в упор. . .

На этот раз Надежда Фроловна указала конвоирам на меня. За что? За то, что я нарисовал масляными красками картину и подарил не ей. Надежда Фроловна считала, что обязан рисовать только для нее, она торговала моими картинами.

Но со мной Надежда Фроловна просчиталась. Во-первых, конвоиры знали меня как «актера»: ведь все концерты и спектакли в лагере ставил я, я же был конферансье, я же музыкант, я же сочинитель пьес, стихов и конферанса, а конвойной команде разрешалось посещать концерты. Во-вторых, только что приехал к нам вновь назначенный замначальника лагпункта, человек не из штата лагерных служащих, так сказать, свежий человек (забыл его фамилию, а уж так хотелось бы его найти!). В первый же день его приезда был убит зек-а на работах в лесу — «при попытке к бегству». Зам (вспомнил: Татаринов!) прибежал ко мне в клуб, бледный, потрясенный:

— Борис Дмитриевич! Это что же у вас тут творится? Убили человека на работах в лесу!

— Да,— ответил я, усмехнувшись про себя комичности выражения «у вас».— У НАС довольно часто убивают тех, кто чем-то

не угодил. Пока я здесь нахожусь, уже тринадцать человек насчитал убитых.

Зам сказал, что он немедленно едет в Управление, в Тайшет, а мне, на всякий случай, посоветовал не выходить из лагерной территории, даже если этого будет требовать начальство, ссылаться на него.

И вот — как раз на другой день — меня вызывают и приказывают идти в числе еще пятерых копать могилы. Я прикинул: если откажусь, со мной могут расправиться. А если пойду? Есть же совесть у простых солдат? Неужели поднимется на меня рука?

Пришли на место — голое поле, все в колышках, рядом кустарник. Мои напарники по бригаде не дали мне копать, забрали у меня лопату. Я только «руководил». Солдаты как будто настроены благодушно, не кричат, не понукают, а ко мне относятся вроде даже уважительно. Понадобился хворост для костра. И я решительно, подчеркнуто смело пошел собирать хворост. Такие моменты обычно и используют, чтобы убить «при попытке к бегству», а я собирал хворост и думал о человеке. Конечно, мало чего-то человеческого осталось в этих парнях, но что-нибудь да осталось? А если нет, черт с ними; пусть стреляют, не большая потеря расстаться с миром, где перевелись и совесть, и человечность!

Но солдаты и не думали стрелять. Они что-то такое перешучивались, а мне сказали, что, мол, хватит хлопотать, ребята в бригаде помоложе, они все сделают. Один даже продекламировал из моей шуточной поэмы «Сказание о Федорченке», которую я сочинил на местном, так сказать, материале и читал недавно на концерте: «Через горы и леса мчатся сыр и колбаса!..» (В «Сказании» речь шла о Федорченке — был у нас такой здоровило — и о том, как он получил посылку от жены и, из жадности, чтобы не делиться с товарищами, разом всю съел, даже в санчасть попал — объелся.) Смеяться конвоир не смеялся, считал, что на посту смеяться не положено. Но голубые его глаза переливались искорками смеха, когда он продекламировал эти строчки.

И вот она — награда поэту: меня не убили. Мы все благополучно вернулись на лагпункт, и шли даже не строем, как положено, а гурьбой. Конвоиры шагали рядом со мной, как бы даже охраняя меня от любых опасностей.

Это тоже, собственно, пример хорошего ко мне отношения и конвойной команды, и Татаринова, который, кстати, вскоре вместе с женой совсем уехал из лагпункта (это был 058 лагпункт Озерлага, 1952 год) и ушел из системы. А меня — по воле той же Надежды Фроловны — вскоре отправили на другой лагпункт. Но не убили-таки, я уцелел. А раз уцелел, выжил, то поставил задачу: в каком бы возрасте ни оказался на свободе, — работать, работать, писать, писать о самом главном — о великой и несчастной России, о нашем горемычном народе, о чести, о борьбе-против зла.

Но кто бы мог предвидеть в 1947 и 1950 году все то, что произошло в 1953-м, в 1956-м? Двадцатый съезда партии, подвиг Хру-



шева... Неутомимый поистине «царь-освободитель» — полковник юстиции Терехов... Это его подпись стоит на документе, хранящемся у меня в «Кобриной папке». (Коброй я называю бывшую мою жену Татьяну Ильиничну Самоквасову, потому что в 1956 году она говорила мне всякие гадости, была груба и шипела, как змея, брызгая ядовитой слюной. Пока я не оформил развода с ней, как камень висел у меня, жизни не было.) Так вот, этой «жене» прислали справку о пересмотре моего дела по поручению комиссии при XX съезде партии. Привожу целиком эту справку, полученную из Главной военной прокуратуры (№ 12—34 627—46, Москва, центр, ул. Кирова, 41, 13 марта 1956 года):

«Сообщаю, что определением Военного трибунала Ленинградского военного округа от 2 марта с. г. дело Вашего мужа, Четверикова Бориса Дмитриевича, по которому он был осужден в 1946 году Особым Совещанием при МВД СССР, прекращено за отсутствием состава преступления (п. 5 ст. 4 УПК РСФСР). На этом основании Четвериков Б. Д. освобождается от ссылки на поселение и считается полностью реабилитированным по настоящему делу.

Зам. главного военного прокурора  
полковник юстиции Л. Терехов».

Сейчас никого не удивишь таким постановлением: миллионы людей были не виновны ни в каких преступлениях, но осуждены иногда на большие сроки, чем я, а иногда на высшую меру — расстрел. И, конечно, Терехов был только исполнитель. Но не он ли возвестил счастливую весть миллионам, ставшим жертвами пресловутого культа личности?

Но я все теряю нить повествования и опять далеко ушел от того, на чем остановился. Мне все время мешает мысль о том, что я не успею записать все переполняющее меня. Надо подробно, связно, по порядку рассказать обо всем, что со мной было, а я все забегая вперед или в стороны. Какая-то логика в ходе моих воспоминаний, конечно, есть, но все-таки надо вернуться к первому году моей жизни в положении зе-ка (так нас называли даже в официальных документах).

Это была гигантская, раскинувшаяся на всю страну Держава: лагеря. Всю дорогу, весь путь от Ленинграда до Известковой, когда мы ни выглядывали в оконце, — на горизонте маячили вышки, какие строятся по углам огороженных высокими стенами лагерей. На этих вышках поменно дежурят солдаты, вооруженные и автоматом, и пулеметом. Когда-нибудь огласят всенародно, сколько было лагерей, сооруженных повсеместно вплоть до Ледовитого океана, до Воркуты, Печоры, Якутии, Колымы, Сахалина. Особо свирепостью славились Соловки. Там в наказание в зимнюю стужу раздевали догола и приковывали к дереву на вершине горы. Всю

ночь все слушали, холодея от ужаса, крики, вой, стоны умирающего.

В Хабаровском крае о таких попытках я не слышал. Но зато распространено было так называемое «убийство при попытке к бегству», о чем я уже немного рассказал на примерах нашего лагеря. Но там это было по приказу жены начальника лагеря. А иногда конвоиры убивали и по собственной, так сказать, инициативе. Затоскует по дому солдат — подстережет отставшего на шаг доходягу и пристрелит его. Соблазн велик: за убийство при попытке к бегству дается двухнедельный отпуск и денежная награда.

Пристреливали по всякому поводу и без всякого повода. Или даже так. Работают зе-ка на участке, вокруг которого расставлены колышки — границы, выход за которые считается побегом. Потерявший человеческий облик, заморенный голодом, обессиленный на тяжелых работах и утративший собственное достоинство арестант мечтает только об одном — о куреве. И когда конвойный докурит цыгарку и бросит окурочок в снег, этот раб униженно попросит: «Начальничек, можно взять окурочек?» — «Возьми», — милоство разрешает «начальничек» — сержант. Обрадованный зе-ка бросается за окурочком, опасаясь, чтобы кто не перехватил. Но ведь, подбирая окурочок, он выходит за пределы, отмеченные колышками, а иногда и веревками? Значит, он «совершает побег»? И сержант преспокойно пристреливает «нарушителя», которому сам же разрешил выйти за рабочую зону. И все молчат. Молча изготовляют носилки и несут убитого на лагпункт. Затем убитому делают вскрытие существующие на лагпункте медики, и бригаду зе-ка в сопровождении конвоя отряжают рыть могилу. А сержант-убийца мчится в поезде куда-нибудь в алтайскую деревню к женушке и милым ребятишкам. И, конечно, вся конвойная команда завидует ему.

Плохой человек или хороший, но есть какой-то предел для подлости. Мои длительные наблюдения показывают, что все наше лагерное начальство, размещенное в плохоньких жилищах в глухой тайге, в степи, на разработках угля и разных копах, всегда тоскует, и все непробудно пьянствуют.

Я знал одного надзирателя — Капустина. Он не довольствовался одной бутылкой водки. Чтобы его свалить, требовалось не то две бутылки, не то три. А где их взять и на какие шиши? У него была дочь, ладная деваха. Капустин за бутылку водки сдавал свою дочь на часок любому желающему. Комната, конечно, одна, тут же все и происходило. Посещали Капустина солдаты из конвойной команды, а то и другие служащие. Этот Капустин на дежурстве обычно находил укромное местечко и отсыпался. Мы с Сашей Васильевым, о котором я еще буду рассказывать (это фельдшер на лагпункте 01-Тоннельная), — так вот, мы с ним обнаружили как-то на месте дежурства Капустина его ремень и... его револьвер. Мы это забрали на всякий случай: ведь попади оружие бандюге в руки — натворит он дел. Затем стали искать Капустина,

нашли, разбудили и протянули ему его вооружение. Он перепугался, что донесем. Мы успокоили его. Мы жалели этого человека. Страшным был рассказ, как он пил принесенную «посетителем» водку (а дочь с этим посетителем располагались тут же — а где же еще?) — пил и приговаривал:

— Зятки мои любезные! Други мои! ..

Как видите, в лагерях жутко было внутри пространства, окруженного стенами, колючей проволокой и рвами, жутко было и по ту сторону колючей проволоки. Страшный мир. В преисподней, и то, наверное, не так страшно: там ГРЕШНИКОВ поджаривают на огне, а здесь — и безгрешных.

Но мы жили. И я расскажу, как мы жили и что видели. Я обязательно расскажу об этом, хотя меня ждет тоже очень необходимая и уже начатая мною книга о становлении русской советской литературы, о двадцатых—тридцатых годах, меня ждет вся моя повесть «Стёжки-дорожки», которую мне необходимо закончить, а я прервал повествование на своем приезде в 1922 году в Петроград и перескочил на тюремно-лагерные воспоминания, считая, что важнее всего описать этот период.

Ну, а теперь — после целой серии отступлений — вернемся наконец к веренице товарных вагонов, переделанных на тюремные: решетки на крохотных оконцах, массивный замок на двери и дырка в полу, заменяющая уборную. Нас везли в этих деревянных ящиках месяц. Так началась для меня — после ареста и двух тюрем — новая полоса жизни, полоса скитания по лагерям и открытия нового для меня мира.

Особенностью этого мира было смешение нас, фраеров, то есть честных людей, с воровской сворой. Воры грабили, обирали, а то и избивали несчастных отощавших в тюрьме интеллигентов и мастеровых.

В вагоне, где я очутился, шло сплошное безобразие. Кто-то кого-то бил. Кого-то загоняли вниз, под нары, где и холодней, и темней, и бесприютней. Под нарами оказывались и «шестерки», то есть мелкие воришки, шантрапа, порочные, замызганные, отвратительные существа, но все равно все-таки мальчишки. Вокруг царил несусветный поголовный мат.

Я сам-то не робкого десятка. А в вагоне сразу же со мной объединились двое рослых и крепких людей. Один из них, как я узнал позднее, был клоун, почему-то называвший себя с неправильным ударением: Александрóв, причем ударению он придавал особое значение. Третий из нашего триумvirата был неразговорчив, но дружелюбен и смел, фамилию его я не помню.

Одни верхние нары заняли блатяги. Главным у них оказался Никóла Рука. Вторые верхние нары напротив заняли мы трое и лепившиеся к нам и встававшие под нашу защиту какие-то тени людей, может быть, когда-то бывшие и на самом деле людьми, а сейчас растерянные и растерзанные существа, сытые вволю если не истязаниями, то оскорблениями.

Насколько я помню, всю дорогу, весь месяц, проведенный в этой тюремной теплушке, я был занят борьбой за жизнь и человеческое достоинство. Помогало то, что я все-таки был среди этой орды уголовников не один, нас было трое. И хотя мы сумели завоевать относительную независимость, я все время чувствовал себя будто в стане врагов или среди дикарей-людоедов. Мне вспомнились годы блокады. Тогда в Ленинграде был, может быть, неписанный, а может быть, писанный закон: если установлен факт людоедства, людоедов истребляют на месте преступления. И были такие случаи. Например, поблизости от нашего дома (канал Грибоедова, 9) на улице Софьи Перовской, форменным образом казнили одну семью: папа—мама—сынчик школьного возраста; сын заманивал жертв — девочек, мальчиков, родители в ванной «свежевали добычу». Еще я знаю случай на Малой Монетной, где жили родственники Татьяны Ильиничны. Там людоед охотился за молодой женщиной, настиг ее у крыльца во дворе и, придушив, вырезал у нее куски мяса. Так вот, в действиях подонков, которыми кишмя кишел наш вагон, мне виделись то же повадки людоедов.

Но лучше я опишу один юмористический случай.

Воры умеют добывать огонь при помощи клочка ваты. Я много раз видел это, при мне добывали огонь, если не было спичек, а хотелось, например, курить. Сам я пробовал добыть огонь таким способом, но у меня не получалось. А они — правда, далеко не все — делают это ловко. Клочок ваты в ладонях скатывают в колбаску — ну, так сказать, в длину. Затем эту ватку кладут на пол, и тот, кто умеет это делать, наступает на ватку и подошвой быстро двигает взад-вперед, быстро выхватывает ватку, она дымится и вспыхивает голубоватым огоньком.

У меня был какой-никакой чемоданчик. В Ленинграде, когда встал вопрос о переезде из Шпалерной тюрьмы в Кресты, я попросил принести мне в передаче мое зимнее пальто и шапку. Мне их принесли. Пальто было вообще-то обыкновенное, черное, но воротник был бобровый, не из шикарных, но вполне приличный. Шапка тоже была бобровая. В Крестах у нас забрали всю одежду для дезинфекции, в прожарку. Вернули мне пальто — сказали — со стиркой, а вернее — с вырезанным мехом, обезображенное: воротник составила подкладка под мех, в белых нитках, очень неприглядного вида. А шапку принесли из прожарки окаменевшую, уменьшившуюся в размере, совсем непригодную, пришлось ее выбросить. Но само пальто все-таки, несмотря на безобразный вид, было теплое, солидное. В теплушке я расстелил его на нарах, и мы — троица объединившихся для самозащиты людей — спали все на пальто, причем вполне умещались. Еще уже и короче было мое одеяло, тоже переданное мне в Кресты из дома, но явно не наше, а кем-то, видимо, пожертвованное, дешевенькое. Мы его клали поперек и все трое им вроде бы укрывались.

И вот мы услышали этикие отдаленные намеки-разговоры на верхних нарах напротив, где расположился «главный вор» Никола Рука со своей свитой: что вот, мол, хочется курить, табак достали,

завертка есть, а спичек нет... а «некоторые» нисколько не сочувствуют, лежат себе на зимнем пальто с ватной подкладкой — и нет чтобы дать вора моток ваты добыть огонь. Все это перемежалось матом-перематом, но смысл намеков до меня дошел. Я готовился великодушно предложить им вату, но тут раздался писклявый голосок из-под нар, где ютились разные щипачи и мелкота:

— Никола, я осмотрел ихнее пальто, оно на ватине, добывать огонь не годится.

Так был исчерпан конфликт между двумя независимыми государствами в теплушке: империей Николы Руки и нашим триумvirатом. Но я и доселе недоумеваю: когда эта шушера успела обследовать мой гардероб, да еще так досконально?! Ведь этот эпизод произошел в самом начале нашего пути, чуть ли не на второй день, а эти проныры уже все знали лучше, чем я сам.

В дальнейшем я убедился, что при желании — и, наверное, при определенном складе характера — можно себя поставить даже в такой отпетой среде. Вот нас всего трое против пятидесяти или, может быть, ста человек, я не знаю, сколько нас было в теплушке. А нас не дерзают тронуть, нас даже опасаются. Вокруг стоит полный произвол, грабеж, кучка главарей — Никола Рука со свитой — забирает себе всю еду, всю одежду, все вещи. А мы трое лежим на пальто, закрываемся одеялом, чемоданчик у меня под головой, и наши порции мы получаем и съедаем полностью, тогда как загнанные под нары не получали подчас даже хлеба — правда, до... получения приказа.

Да, да, приказа. Вот когда я узнал, что у блатного мира есть «центр». Мы ехали через безлюдье Барабинской степи в вагоне, запертом на замок и охраняемом солдатами. И все-таки к нам поступил приказ — неведомо откуда и как переданный каждому вору, каждому уголовнику по всей стране. Приказ был краток: «Пайка хлеба священна. Пайку хлеба не отнимать». Что это означало? Что грабители, воры, аферисты, карманники — все, все, все — могут красть и отнимать силой все, что угодно, кроме пайки хлеба, на которую все люди равно имеют священное право — воры и честные люди, сильные и слабые, старые и молодые. Очень интересное распоряжение, я бы даже сказал — поразительное распоряжение. Мудрое ведь?!

С того дня свою пайку сполна получали все без исключения в вагоне, вот почему мы все остались живы и благополучно за один месяц добрались до станции Известковой, до Хабаровского края.

За это время было только одно происшествие: на станции Новосибирск во все вагоны, в том числе и в наш, принесли по горсти печенья на каждого человека. Что такое? Откуда? Оказывается, конвойные вызвали опытных грабителей и сообща... ограбили товарный вагон с кондитерскими изделиями. Львиная доля досталась конвойной команде, достаточно получили сами «специалисты», то есть те, кто взломал дверь в вагон и вынес оттуда все, что попра-

вилось. Но кое-что перепало и обычным арестантам, фраерам вроде нас.

После того, что я уже повидал, после истории с Володей Солнышко и с заигранным, меня трудно было чем-то удивить. Пограбили и пограбили, скромненько, один всего вагон, а захотели бы — разнесли целый эшелон с различными товарами.

На станции Известковая поезд наш убрали с главного пути. Начались переговоры начальника нашего эшелона с кем-то... С кем же? И тут выяснилось, что нас везли в город Находка, что этот город стоит на берегу бухты Находка и туда, в этот город, строилась железная дорога руками нашего брата — арестантов. Потом-то я повстречал и многих строителей оттуда, и они мне порассказывали такого, что уж лучше бы и не рассказывали... Например, как приехал туда прохвост из числа «высокого начальства», выступил на митинге и, показывая на ворох паспортов, лежащих перед ним, и помахивая паспортами в воздухе, кричал до хрипоты, что он привез эти паспорта для них, для зе-ка, и раздаст эти паспорта, как только они вот эту гору начисто сокрушат, сроят и проложат здесь прямой путь к бухте Находка. «Вперед, товарищи, на штурм горы!». . . Гору снесли к чертовой матери, дорогу построили, а авторитетный начальник с паспортами куда-то бесследно исчез. . .

Для нас, для нашего эшелона, важно было то, что дорога построена и мы там больше не нужны. Ясно? Ясно. И наш поезд двинулся по ветке Известковая—Ургал. Ни названия Известковая, ни слова Ургал никто из нас никогда не слышал, да и не все ли равно, где погибать. Можно сдохнуть в местности с любым названием или совсем без названия. Когда мы ругались с конвоирами во время нашего пути, что они не дают нам воды, хоть глоток воды, чтобы напиться, конвоиры — молодые, бойкие, незлобивые солдатики — кричали нам добродушно и даже весело:

— А чего вам вода? Вам уже ничего больше не нужно! Мы везем вас туда, откуда назад никто из вас не поедет, на погибель везем.

На это нам нечего было отвечать. Но воду нам приносили. И уже совсем миролюбиво объясняли:

— Вы не первые и не последние. Возим-возим, наше дело подневольное. Возим, а обратных билетов вам никому не приготовлено. Обратно пока еще никого не возили.

Впрочем, и воры-бандюги, ехавшие с нами, тоже не рассказывали ничего утешительного:

— Мы-то все видали. А вы, как новички, как ничего не знаете, месяц самое большее выдержите, загнетесь. Это уж что и говорить: хана.

Это я вроде как перевод сделал, так как говорили они на каком-то диком языке, где я на первых порах не понимал половину слов, ими произносимых с каким-то вывертом, по-особенному. Кроме того, они к каждому слову прибавляли без всякой связи множество похабных слов и выражений, и тоже с каким-то особым

выговором, со словами, не договариваемыми до конца: «коне» (это же слово иногда: «конех») — значит, «конечно», «мойкой по шнифтам», «птюха», «дубака», «гнать железку», «кумар долбит»... А разговаривали на этом варварском языке какие-то особые существа, нет, не людоеды, это я, наверное, переборщил, но существа зловредные и опасные, кем-то отринутые, кем-то доведенные до скотского состояния.

«Я отчаянным родился, я отчаянным умру!» — право же, это не плохо, это вполне человеческие слова. А тут один в вагоне пел — это сортом ниже:

Вот раньше — жизнь!  
То вверх, то вниз...  
Идешь без конвоира.  
Подкуришь план,  
Идешь на бан  
И щиплешь пассажира.

Но песенка сомнительная в смысле авторства: ведь слова «пассажир» у блатных в обиходе нет, так что «щиплешь пассажира» может написать только не блатной. И хотя эту песню просто так, себе под нос напевал один из моих соседей по теплушке, но я подозреваю, что эти слова изготовил для блатных кто-то не из их круга. Позднее, находясь в лагере, я записал много блатных песен, некоторые занятные, но все это пропало.

Ввиду того что отпала надобность в нас, находящихся в двадцати тюремных вагонах, на стройке железной дороги к Находке, надо было куда-то нас девать. На ветке Известковая—Ургал был построен в числе других лагерь, где размещали пленных японцев в 1946 году. Японцев перевели куда-то в другое место, а нас загнали сюда, пересчитали и расселили по холодным баракам с нарами не из досок, а из жердей. Конечно, никаких постелей. И кухня еще не налажена. А главное, — нет воды. Причем курьезо, что лагерь размещен на крутом берегу чистойшей прозрачной речки, а воды нет: нас боятся водить туда — можем сбежать. Внутри лагеря протекает ручей, впадающий в эту самую речку, но ручей весь загажен, засорен, в него набросаны ржавые банки из-под консервов, тряпки, сношенная обувь и всякая дрянь. Я спросил об этом ручье местных жителей — поваров, надзирателей. Оказывается, это горный ручей, но он проходит мимо какой-то мастерской, и потому вода в нем еще пахнет бензином.

В бараке, где я поместился, мои спутники, в том числе Александров, куда-то девались. В первые же часы, только я вышел ненадолго, — воры обшарили мой чемоданчик и кое-что из него забрали. И мое дрянненькое одеяло исчезло. Тогда я оставил чемодан открытым и, уходя, громко, на весь барак объявил:

— Если есть такая сволочь, что грабит такого же, как вы, арестанта, то берите, не стесняйтесь, что еще осталось. Но каждого, кто поживится — это я вам предсказываю — ждет кара: пропадет

он пропадом, раз у него ни хрена нет ни совести, ни жалости — пустая душонка!

Вообще-то я крепче выражался — так сказать, на их языке — и очень резко.

И я ушел.

Чемодан больше не тронули, да и что в нем было брать.

Расположившись на верхней наре, где и матрацем, и одеялом, и подушкой было мне пальто, я спокойно взвешивал свое положение, все «за» и «против». Конвойные спокойно пояснили, что нас везут на гибель, а блатные только шутили: «Не рви цветы — они завянут, не верь ментам — они обманут». Или лениво приговаривали: «Пошел народик — насквозь чудак: сегодня — додик, а глядь — дубак». Вообще что-то бормотали на своем дурацком невеселом жаргоне, на воровской фене. Я заметил, что главная, основная их черта: они не думали, то есть жили как живется. Мерзнут — значит, плохо, значит, умолкают. Добыли чего похавать — повеселели. Задница на их жаргоне — попенгаген, рот — Роттердам. Несерьезно все это, мелкая сволочь. Но вот история: что конвойные солдаты, что эти мазурики — все убежденно, без щегольства, но и без сочувствия уверяли, что наш брат — фраера — долго не выдержит. А они-то знали! И я — как когда-то в камере, поняв, что меня тем или иным способом уничтожат, решил начать голодовку, — так и теперь настроился: «Месяц, говорите, продержусь? Ладно. Посмотрим!» У меня было даже какое-то любопытство: как все это произойдет?

На следующее утро я принялся за работу, какую наметил заранее. Ни с кем не согласовывая, никого не спрашивая, сам нашел лопату и палку, заменяющую мне багор: решил расчистить ручей, протекающий через наш лагерь, и обеспечить нас питьем. Вытаскивал из ручья ржавые банки, обрывки одежды, вообще всякую грязь. Работал до самого обеда и после обеда до темноты.

Некоторые подходили, смотрели-смотрели, а потом недоуменно спрашивали:

— Это чего это?

— А вот, — отвечал я, — расчищу речку, углублю дно и буду топить всех, кто мне не понравится, как топят слепых котят.

— Да ну-у, давишь понт!

— Пить будем нет или пить будем да? — отвечаю я по-блатному, и любопытствующий с уважением смотрит на меня. Тогда я добавляю. — Кручу поганку, едрена-зелена, на пятаю кнокаю, прикинсь к носу.

Я видел, что среди блатных поднялось смятение. Мой собеседник тотчас рассказал обо мне по меньшей мере десятерым, а те каждый еще десятерым. Приходили, издали разглядывали меня и уходили. А один — хрипатый — подошел, заговорил о чем-то постороннем, а я, опираясь на лопату, отдыхая, как бы случайно рассказал, что в Крестах перекинулся в стос с Володей Солнышко, — понимаешь, ни одной карты не дал, играли «с третьями», пояснил я, меньше столыка ставки не было, фанеры у меня было



завались, всю оставил, на прощанье поставил волюну — и волюна перешла к Солнышку, расстались корешами, была упаковка у меня — пополам, по-братски, сели на иглу — хорошевато. А здесь мне ни тпру, ни ну, давлю кисляк. . . Вот оно как, мульки-клеенки!

Выложив весь запас, что накопил в Крестах да едучи в вагоне, я вздохнул и, даже не глядя на собеседника, принялся снова прочищать русло ручья. Больше я с ними разговоров не заводил, только дал понять, что в отрицаловку шел, то есть ни в чем на допросах не сознавался, а таких следователи бьют, истязают безжалостно. Блатные уважают тех, кто идет в отрицаловку, большею частью у таких на душе крупные дела. Теперь никто не вмешивался в мою работу по очистке ручья, полагая, что это не спроста, что тут есть какой-то секрет и что вообще я — человек серьезный.

Ручей я обработал на славу. Сутки никто не прикасался к нему, хотя видели, что вода прозрачная и очень холодная, — значит, родниковая. А потом все стали и пить и умываться из ручья, брать воду для кухни и для хозяйства. Никто, однако, не поблагодарил меня, все даже будто бы ничего и не видели. Люди не знали, как оценить этот поступок: никто меня не заставлял, а я работал, никто ничего не объяснял, а я во всем разобрался. Все это не укладывалось в их понятия, и они были в затруднении: как к этому отнестись? Предпочли сделать вид, что ничего и не было, что ручей сроду был чистый.

Хотел бы я поехать в те края, посмотреть, течет ли мой голубой ручей, живет ли кто в этом живописном местечке, которое осквернили и оскорбили, поместив здесь несчастных зе-ка и соорудив безобразный, постыдный загон для людей. Какой здесь могучий лесище! Какие реки! Какая трава!

А с воругами я как накликал, когда предрекал им кару за похищение моего имущества: по документам, что ли, или в этой толпе были и соглядатын, но вскоре всех самых отпетых собрали, громко выкликая по фамилиям, у ворот, поотбирали у всех у них наворованные вещи и тут же возвращали эти вещи их владельцам.

Вот размахивают и моим одеяльцем:

— Чье одеяло? Бери!

Но я со злостью крикнул:

— Мое! Но я после этого поганца не возьму, берите, если кому надо!

Кто-то покосился на меня: шучу я или всерьез отказываюсь? Скомкал и улепетнул в барак с моим одеялом. Вещей тут ни у кого не было, у всех жалкое тряпье и обноски.

«Ничего себе, в симпатичном обществе назкачили меня умирать!» — усмехнулся я.

Конвоиры увели самых заядлых, и было ощущение, что очистили наш лагпункт от опасных зверюг, стало как-то проще и более человечно, легче дышать. А мое злополучное одеялишко потом подбросили мне на нары, а того, кто подобрал его, и подобрал, по-моему, законно, — отшмендефелили, то есть, проще говоря, из-

били. Я еле удержался, чтобы не расхохотаться, когда узнал об этом и увидел свою «драгоценность»: вот какой я сделался для блатных уважаемый кент!

Затем нас мыли: на каждого по полшайки теплой воды и крохотному кусочку мыла. Вымылся — выскакивай на мороз — одеваться. Снежинки кружились в воздухе. Вытираться было нечем, но на ветру быстро сохли и еще быстрее натягивали на себя белье, верхнюю одежду и обувь. Вот чудо: никто не заболел, не простудился.

Пленные японцы, жившие до нас в этом лагере, сами, видимо, соорудили нары из жердей, — то ли у них не оказалось пилы, то ли они не умели изготавливать доски. Еще остались от японцев какие-то столбики возле бараков с надписями на каждом. Мне почему-то казалось, что это связано с какими-то религиозными поверьями. Меня столбики очень интересовали, но спросить было не у кого: народу было много, но не было ни одного ЧЕЛОВЕКА.

И вдруг приехал — на этот раз — человек! Очень сутулый, очень интеллигентный и фантастически наивный. Я увидел этого приезжего на главной дорожке лагеря. Его прислали со станции Известковой из ЦРМ — центральных ремонтных мастерских. Он был главным инженером ЦРМ по фамилии Ляшко и должен был вербовать из нашего эшелона специалистов. Это из нашего-то эшелона, где не было ни одного существа, хотя бы отдаленно напоминающего человека — все сплошь громилы один другого краше! Но заблуждение инженера Ляшко понятно: всем было известно, что нас везли достраивать железнодорожную магистраль, ведущую напрямиком к бухте Находка, — отсюда руководители ЦРМ и сделали вывод, что кого же могут везти туда, если не всевозможных специалистов. И вот длинный, тощий главный инженер Ляшко приехал к нам отбирать себе работников, мастеров-умельцев.

Его тотчас же облепили блатняки, получившие от своих главарей известную команду: «Мазурики! Слушай сюда! Фан Фаныч — Сидор Поликарпыч! Понятно? Разойдись!»

«Фан Фаныч — Сидор Поликарпыч» — такой приказ означает, что все Петюнчики, все Николы Рука, все Сергуны Лампадки, все Толики Интеллигенты — словом, вся эта несусветная рвань и шушваль должна играть роль воспитанных, образованных людей: называть всех не по кличкам, а по имени-отчеству, на «вы», изъясняться без ругательных слов, без жаргонных вывертов, культурно и вежливо, насколько это в их силах. Этот прием используется тогда, когда это нужно для их пользы, по каким-нибудь особым соображениям.

Инженер Ляшко был ошеломлен: столько ценнейших кадров он привлечет к работе на ЦРМ, можно будет развернуть мастерские в гигантский завод!

— Запишите, товарищ инженер: монтер-электрик Сумкин Василий Васильевич.

— Иван Зацепин, — запишите, пожалуйста. Работал мастером на Путиловском. Сами понимаете — марка!

Списки у Ляшко были так велики, что я опасался отказа. Дождавшись, когда все отхлынули, услышав, что бьют в рельсу на ужин, я подошел к Ляшко. У него было длинное бледное лицо и близорукие немножко растерянные глаза. Он по старинке носил пенсне. Это делало его несколько комичным, ненастоящим.

— Можно с вами поговорить? — обратился я.

— Пожалуйста, пожалуйста! — ответил он поспешно, и от резкого движения у него свалилось пенсне.

— Я, знаете ли, писатель, — робко начал объяснять я. — Профессия, на которую здесь вряд ли есть спрос. . .

— Нет, что вы! — обрадованно, как мне показалось, воскликнул Ляшко, едва услышав мою фамилию. (Я даже удивился этому.) — Нам так нужны культурные люди! Я, знаете ли, озадачен: электрики, монтажники, механики и черт-те кто, а вид у всех, знаете ли, оставляет желать лучшего. . . Прямо какая-то мистика!

— Я хочу добавить, что очень люблю медицину, был даже на медицинском факультете в Томске — может быть, мог бы на подсобных ролях пригодиться как медик? — размышлял я. — Еще учился — немного, правда, — живописи, со мной даже краски есть. . . И музыкантом мог бы, играю на рояле, на гармонии, на струнных инструментах. . . Но все это умения, мало пригодные в тюрьме. . .

— Помилуйте, какая же тюрьма, у нас производство! Я вас беру, беру, решено и подписано! — и он записал меня в свой блокнот и даже подчеркнул мою фамилию.

С этим милым деликатнейшим человеком я познакомился в скором времени ближе. А потом лагерная система раскидала нас в разные стороны. Уже после, когда я, реабилитированный, вернулся в Ленинград, и не сразу, а сколько-то лет спустя, ко мне пришел работавший вместе со мной в этой самой ЦРМ инженер Борис Федорович Соболевский, сколько было разговоров, сколько воспоминаний! Видимо, через него меня нашел и Ляшко, от которого несколько лет назад я получил из Чернигова пакет, где было 5-6 моих шуточных стихов, написанных в тот период, когда я работал у него в ЦРМ, и поэма «Сотворение мира» («Сибирская панорама») — тоже 1946 года. При этом Ляшко писал:

«Уважаемый Борис Дмитриевич! Прежде всего прошу не удивляться моему письму. Но случайно, при разборке моего архива, в числе различных бумаг, накопившихся за период моей жизни и скитаний, нашлись несколько листков, напомнимших мне Дальний Восток, ст. Известковую, техотдел тамошнего завода и Вас. Полагая, что возможно у Вас могли не сохраниться эти произведения (среди них есть одно, которое не является шуткой), я решил, что моей обязанностью является пересылка их Вам. Единственное о чем прошу Вас — подтвердить их получение. Буду благодарен, если Вы, хотя бы кратко, сообщили о своем здоровье. Ведь мы с Вами почти ровесники. Я тоже родился в 1895 году, т. е. на год раньше Вас. Не льщу себя надеждой, что Вы помните обо мне, поэтому подписываюсь полностью — Ляшко Виктор Евгеньевич».

Бог ты мой, мне ли не помнить моего спасителя! Ведь благо-

даря ему я целый год жил в невероятных для лагеря условиях. Это было какое-то чудо, какое-то необыкновенное везенье для меня, что он появился со своей вербовкой.

Я ответил Виктору Евгеньевичу восторженным письмом, и он прислал мне потом несколько больших писем-исповедей, писем-автобиографий, воспоминаний, из которых я узнал, что родом он с Украины, но с 1930 года жил в Москве и работал — на крупных постах — на «Красном пролетарии», «Фрезере» на ЗИСе, а в 1937 году был арестован и получил, как и я, десятилетний срок. Так что были мы с ним друзья по несчастью, оба зе-ка, только его как опытного инженера и в лагерях использовали по специальности: на стройке радиостанции возле Иркутска, в качестве прораба первичных работ на БАМе (Ляшко об этом пишет: «У меня был участок в 8 км длиной, и под моим началом было 300 немцев Поволжья, которых в том же 1937 или 38-ом всех до единого изыяли с берегов Волги и послали с различными сроками в Сибирь... В лагере, который так и назывался БАМлаг, было 1300 тысяч заключенных»), потом на авторемонтном заводе в г. Свободном Амурской области... А вот потом-то, в 1946 году, судьба и свела нас.

Об этом Ляшко вспоминает так:

«...Потом я очутился на заводе, где не было ни одного инженера-металлиста и где мне пришлось начинать организовывать изготовление оборонной номенклатуры — мин... Изымая для этого из поступавших этапов нужных специалистов, я взял из очередного этапа несколько ленинградцев, а уж они попросили меня помочь вырвать из тайги, с лесоповала Бориса Дмитриевича. Это мне удалось, и «выдающийся чертежник» Четвериков, без которого трудно изготовлять мины, был без промедления доставлен»...

Вот какие теперь выясняются детали. А я-то думал, будто мне показалось, что он обрадовался, когда я назвал себя!

К сожалению, на письмах Ляшко нет дат — ни на одном, а конверты от писем не сохранились. Но приходили они уже в 70-е годы, когда я тяжело и подолгу болел, и отвечала ему в основном моя Наташа, которая вообще вела всю мою переписку и все мои дела. Помнится, присылал Ляшко и свою фотографию, на которой я узнал бы его и без подписи, хотя и прошло лет 30 после нашей первой встречи в «местах не столь отдаленных». Присылал он и карточку своей жены Дарьи Анфилогиевны, меня еще поразило ее редкостное отчество. Не знаю, жив ли сейчас Виктор Евгеньевич, скорее всего — нет, ибо письма от него прекратились, а писал он и тогда после трех инфарктов с трудом. Но письма эти для меня — драгоценность. А он еще извинялся за длинноты:

«Я не знаю, представляют ли для вас обоих интерес мои воспоминания, но я хотел только, чтобы Борис Дмитриевич, с которым в лагере мне на короткой ноге общаться не приходилось, так как, вполне естественно, он был членом коллектива ленинградцев, — имел представление о том, как я дошел до жизни такой... Очень мне хочется услышать о том, как пережил все перипетии жизни

Борис Дмитриевич, где он был после моего освобождения. . . И еще один вопрос: соавтор Бориса Дмитриевича (по описанию Тайшетских лагерей) продолжает быть в числе близких к вам людей? И знаете ли вы, что о нем писал Солженицын?»

Что писал о Дмитревском Солженицын, я — к стыду своему или к счастью — не знаю. А вот о Ляшко с удовольствием написал бы книгу. Где только он не был и чего только не строил: был начальником производства на строительстве железной дороги, «которую приказал построить по Полярному кругу от Воркуты до Магадана Иосиф Виссарионович». . . был на строительстве Новосибирской ГЭС, Томьусинской ГРЭС в Кемеровской области, электростанции в Чернигове, Бурштынской НРЭС возле Ивано-Франковска. . . А до 1937 года, до ареста, работал редактором Машиздата, был в числе активных членов Московского делового клуба — «Это был специфический клуб, — поясняет Ляшко, — больше к нему пристало бы название Клуб инженеров, его членами состояли и большинство директоров московских заводов, и работники наркоматов — в общем, элита московского инженерства». Тоже интересный штрих биографии. Всего не перечислишь. Жаль только, что времени на книгу об этом замечательном человеке у меня уже нет, увы. Но я рад, что хоть здесь уделил ему немного внимания.

А теперь возвращаюсь к своему рассказу.

Итак, Ляшко записал меня, что-то неуклюже расспрашивал, а я бестолково отвечал, и мы расстались.

На следующий день нас по списку вывели из нашего лагпункта, мы спустились с горки и увидели странно белые вагоны: они служили для перевозки извести, так можно было понять, — не зря же и железнодорожная станция называлась Известковой. Нас распилили по вагонам и заперли. Как только состав тронулся, известковая пыль заполонила вагоны, стала проникать нам в глаза, в рот, в горло. Сначала мы отплевывались, пробовали закрывать лицо руками. Это мало помогало, и мы начали задыхаться, почти теряли сознание. У меня мелькнула мысль, что все это умышленно подстроено и что нас уничтожат в этой своеобразной душегубке. Но нет, это оказалось по недомыслию, по равнодушию. Приказано подать три вагона под подгрузку заключенных! Пожалуйста! Как раз три вагона свободны — пользуйтесь.

Когда двери вагона открыли, оттуда стали выскакивать чумные, полуживые, белые, в известковой пыли, человечки. Прежде всего мы вытрясли всю свою одежду. Затем тряпками, носовыми платками, чем попало долго протирали лицо, волосы, руки, счищая въедливую известковую пыль. А утро было какое! Красотища! Мы стояли на платформе и глубоко дышали. Вкусный кедровый воздух.

Удивительное дело: на станции Известковой, заслоненной горами от Севера, мягкий приятный климат, совсем не похжий на тот, что в глубине Хабаровского края: в Ургале, на Дуссе-Алиньском перевале, в Търме, Чекундэ. Я-то повидал небольшое про-

странство этого огромного волшебного края, чудо-края. Достаточно сказать, что площадь его — 860,5 тысячи квадратных километров. Для сравнения напомним: например, Голландия — чем не страна? Голландский сыр, например, знают и чтут на всем Земном шаре. Так вот, площадь Голландии — 2 тысячи 633 квадратных километра. Дания побольше — 42 тысячи 930 квадратных километров. Нет, возьмем для сравнения такую большую страну, как Франция: ее площадь — 551 тысяча квадратных километров. Заметьте — Франция! А Хабаровский край — 860,5 тысячи квадратных километров. Не знаю, как сейчас, а в те времена, когда я очутился в Хабаровском крае, половина его площади были леса. И какие! Кедровые! А можно было встретить там и маньчжурский ясень, и монгольский дуб, и мелколистный клен, и черную даурскую березу, и амурский бархат, и маньчжурский орех...

Я долго стоял на пороге этого огромного экзотического края, засыпанный известковой пылью и еле живой. Конвой не спешил, и это дало нам возможность очухаться, прийти в себя.

Но вот нас построили по пяти человек и привели к воротам, на которых красовалась надпись: ЦРМ. Я с любопытством смотрел на эти три еще загадочные для меня металлические буквы и, памятуя предсказания и конвойных, и блатных, что не выживу в лагере больше месяца; усмехался, сочиняя заключительную строчку очерка о себе в учебнике истории русской литературы: «Скончался писатель Четвериков в ЦРМ, на границе Хабаровского края».

«Ну, ну, — думал я, — посмотрим, как это бывает».

Тут ворота распахнулись, мы вошли — строем по пяти в ряду — и остановились уже на территории ЦРМ, где наши конвоиры теряли свою силу. Озираясь по сторонам, я с удивлением увидел два дома обыкновенной стройки. И совсем был обескуражен, когда возле дома, стоявшего слева, увидел... да, да, клумбу! И на ней осенние астры и даже уцелевшие от лета анютины глазки — в точности как у нас, в России, совсем как на воле! Все припорошено снегом, почерневшее и увядшее, но различить цветы еще можно. А главное, сам факт — клумба! Я разглядывал ее и даже улыбался: ведь если есть астры и нормальные человеческие дома — бревенчатые, с деревянной крышей, с наличниками у окон и крыльцом со столбиками — то и умирать тут не так противно.

В это время ко мне буквально бросился какой-то несуразный, как мне показалось, неказистый человек:

— Это вы — Четвериков? Писатель? Боже мой, какой счастливый день для меня! Будем знакомы: Никишин — тоже, знаете ли, тово... из литераторов, а теперь втоптаный в грязь узник... У вас что? Чемодан? Не трогайте, не трогайте, я сам понесу! Как я счастлив, вы не представляете, увидеть свежего человека, да еще откуда — из Питера, из светоча человечества! Сюда, сюда, я для вас уже занял место, нижнее, будем рядышком. Минуточку, я мигом приволоку матрац, одеяло, подушку, у нас тут по-культурному, по-европейски, не кое-как.

Он соорудил на нижнем ярусе нар царскую постель — после жердей-то, вообразите, какой это показалось роскошью. И все говорил, говорил, все радовался, радовался, а лицо у него мне показалось несколько простоватым, неодоухотворенным. Ну и что? Давно сидит, думаю, оступел, одеревянял.

Оказалось, что нас, прибывших этапом, приказано сразу же накормить, и все эти Петюнчики, Лампадки, Чужбаны, записавшиеся у инженера Ляшко как крупные специалисты — слесари, техники, монтажники и черт-те что — хавали жадно и все прорывались на свой жаргон. Ночью они обокрали несколько «фраеров», сперли на кухне весь завтрак, высадив кухонное окно. А меня утром окружили милые, приятные люди во главе с Ляшко, в основном же, молодежь.

— Куда же вас устроить? — хлопотали они. — Вы не беспокойтесь, все будет превосходно, мы все предусмотрим... Как там в Ленинграде? Хотя — после, после, успеется!

Вскоре я убедился, что главный инженер Ляшко — арестант-арестант, а пользуется большим авторитетом, с ним считаются, он кое-что может. Конечно, это был лагерь. Но в то же время это были ремонтные мастерские, даже больше — это был маленький заводик, со своей электростанцией, даже со своим литейным цехом. И население лагеря было особенное: действительно специалисты, действительно инженеры. Было отдельное техбюро. Был на территории завода домик — партийный клуб. А тот дом, который меня удивил, — это был общий клуб. Около него и красовались анютины глазки и астры.

Но я понял только позднее, насколько ЦРМ не походил на другие лагункты: там был даже отдельный женский барак. Правда, его пришлось особо укреплять: окна обнесли решетками, соорудили массивную дверь, изнутри запиравшуюся на железные задвижки. Это женщин защищали от пылких предприимчивых кавалеров, всячески старавшихся проникнуть ночью в барак. Днем двери открывались настежь, на окнах отодвигались занавесочки, и никто уже не врывался к обитательницам барака, так как мигом был бы призван к порядку.

А две женщины — какого-то монашеского типа — обитали в простом бараке, их не трогали, они жили тихо, грустно, я с ними познакомился, но никогда не пытался расспрашивать их о прошлом. Кажется, сроки у них были большие, и никаких надежд на перемену судьбы у них не было.

Так что же придумал Ляшко?

Он устроил нечто вроде квалификационной комиссии. Был приглашен доктор, присутствовал кто-то из администрации, все люди деликатные, держались вполне прилично, вообще ничто не походило на тюремный стиль. Меня попросили одному молодому человеку из техбюро осмотреть горло, прощупать печень, другому — проверить пульс и смерить давление, третьему — сделать перевязку — словом, самые невинные процедуры. Поговорили об ангине, кашле, пищеварении, гипертонии, о лекарствах, которые я

рекомендовал бы в том или ином случае. И мне официально, по всем правилам поставили в документах специальность фельдшера.

Это великое дело! Я два года из всего отведенного мне десятилетнего срока (но не у Ляшко, а в дальнейшем) работал в санчасти. Работа напряженная, но все-таки не лесоповал. А ведь мне перевалило за пятьдесят, не мальчик.

Нет, не думайте, все-таки мне довелось и вкалывать на лесоповале, где летом буквально жрет мошкá, облепляя руки, лицо, глаза, и быть «транспортом», таская из леса на завод древесные кряжи. Хорошо помню эту проклятушую работенку. Стояли шестидесятиградусные морозы, а мы волокли на себе эти чертовы бревна, впрягаясь по 10—15 человек и карабкаясь с бечевой по глубокому снегу. Помню, одно бревно было кедровое, очень красивое, и было жаль срубленного дерева. И было оно, это бревно, особенно тяжелым. . . Случалось мне разгружать вагоны и носить кули с известкой на спине до склада. Случалось колоть ломом лед. Да к чему все перечислять? Зе-ка есть зе-ка.

Всего бывало на веку.

Что проще — сесть на всю катушку

Ни за понюшку табаку

И вообще ни за понюшку. . .

Это я облек свое горе в полушутливую форму. Зачем пугать людей? Одно могу сказать: много лет прошло с тех пор, как я выбрался из этого кошмара, но — не знаю, как это назвать — осадок, метка — что-то осталось. Нет слова, чтобы определить это состояние: я до конца дней обречен носить где-то в себе затаенное, невидимое, но всегда — понимаете вы это? — ВСЕГДА осязаемое чувство, которое тоже не имеет названия, не объяснить его, и любое существующее слово тут не подходит. Тоска? Нет, не тоска. Горечь? Да, пожалуй. Во мне поселилось — опять я не точно выражу — осторожное отношение к человечеству как породе животного мира. Недоверие? Нет, не недоверие, Знание? Но я ведь люблю людей. Люблю, но знаю, что получается из них при особых обстоятельствах.

Тюремные надзиратели — это, пожалуй, еще немножко люди? Люди. А следователь Кулаков? Он, вероятно, ближе к разновидности пауков, а не к племени людей. А наши истязатели, живодеды, инициаторы и исполнители злодейского кровавого заговора против своего же народа? Не хуже ли они гитлеровских палачей и мучителей? Существа, которые могут, и даже с азартом, с увлечением, ломать пальцы, загонять под ногти иглы, вспарывать животы, пытать электричеством, подсыпáть отраву, умерщвлять новорожденных, прививать болезни, зверствовать и подличать ради каких-то бредовых замыслов, вынашивать и осуществлять планы массового истребления населения — ну сами посудите, какие же они люди? Это нелюди, смертельно опасные маньяки. Если вам непонятно, я приведу простой и доступный каждому пример. Кто



не любит гриб-боровик, кто не восхищается им, вкусным, питательным, желанным, вот уж действительно красавцем? А есть ложный белый гриб — тоже красивый, крепкий, очень похожий на настоящий, только чуть бледно-зеленоватый. Это опасный, сильно ядовитый гриб, смерть на одной ножке. Надеюсь, теперь все понятно?

Пусть социологи, невропатологи, судебные следователи, демографы, эксперты разбираются в этих разновидностях и ищут объяснение, откуда, вследствие чего могут среди людей появляться оборотни. Но нельзя их терпеть в своей среде. Помимо того что они опасны сами по себе, они еще и разносят заразу. Не чудовищно ли, что можно найти среди людей распорядительных, опытных, умелых служителей газовых камер, крематориев в лагерях смерти? Не дико ли, что можно нанять, уплатить — и найдется профессиональный убийца, который аккуратно, быстро выполнит ваш заказ?

Я прошел через многие фазы бездушного, жестокого аппарата, наивно именуемого правосудием. Мне нельзя отказать в наблюдательности, во мне заложено некое неистребимое любопытство ко всему устройству Мироздания в целом. И вот я вижу теперь многое искушенными, натренированными глазами. И могу с грустью отметить, что вообще все с самого начала до конца не так совершенно, как хотелось бы.

Речь у нас идет о человеке. Миллионы лет потребовались, чтобы выкроить на Земном шаре это крайне несовершенное существо, зачастую погибающее в первые же дни или еще во чреве матери и дальше подверженное тысячам опасностей, начиная со сквозняка. И для чего же миллионы лет вытаскивала Природа это двуногое устройство? Для того ли, чтобы мучился, исхитрялся несмотря ни на что жить и даже кое-что совершать, но... всего-то ему отпущено условным, им же самим придуманным «летосчислением» несколько мгновений, чтобы промелькнуть в Вечности, сверкнуть искрой некоего человеческого костра — и погаснуть. И даже считается, что по сравнению с умершими от скарлатины и коклюша во младенчестве, по сравнению с погибшими восемнадцатилетними, двадцатисемилетними, тридцатисемилетними, — ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ кому-то (Тицианом Вечеллио его звали): дотянул, видите ли, до 99 лет всем на удивление. А что такое 99 лет, когда самое паршивенькое из мириадов солнц живет-поживает много миллионов столетий, прежде чем рассыпаться на куски? Так стоит ли говорить о человеческой жизни, разгадывать, что означает ЧЕЛО и что означает ВЕК?

Но, знаете, испоганить и этот миг существования — это что же? Этому трудно подыскать название. А сколько людей гибнет, так и не узнав, за что же их мучили и зачем их мучили, и, коли так, стоило ли им и родиться! Более жуткой эпохи не бывало. Груды замученных, горы истребленных, расстрелянных, пристреленных, казненных... Нет, не десятки и сотни, нет, не тысячи, к сожалению...

И в то же время парадоксальная мысль: человечество вероятно плодовито, и доведет ли эта плодовитость до добра? Нужны ли нам, к примеру, 400 миллионов человек, по счету Менделеева, если не можем прокормить и 260 миллионов? Надо ли, повышая благосостояние народа, обеспечивать алкоголика, чтобы он плодил уродов? Сверхобилие всего необходимого человеку? Это, мне кажется, осуществимо. Но — при обязательном нормировании численности населения Земного шара. Возможно, что когда-нибудь право на размножение будет выдаваться, как привилегия.

Впрочем, зачем задумываться, как будут жить люди. Они обязательно будут жить не так, как кто-то предполагает, а совсем как-то иначе. Я хочу только сказать, что у Земного шара, в конце концов, есть пределы, не так уж он велик, этот Земной шар, а суши на нем совсем мало и может стать еще меньше. Не пришлось бы осушать океаны, а переселять людскую икру, по-видимому, некуда: ни Марс, ни Венера, ни даже товарищ Луна не пригодны, если только мы не научимся насаживать на них слои атмосферы и накачивать в них кислород.

Вообще отбросим глобальные соображения и вернемся к нашей календарной жизни: пятница, суббота, воскресенье, понедельник. . . январь, февраль, март. . . И ухватимся за более или менее прочное и устойчивое понятие: народ. (Но и то хочется спросить: а где скифы? а где Вавилонское царство? где ассирийские жрецы?) Народ — это все же осязаемый объект в потоке Вечности. И мне доставляет удовольствие и счастье любить свой народ и, как умею, бороться за его блага, хотя, откровенно говоря, испокон веку незаслуженно плохо живется русскому народу и дороговато платит он за право быть. Добавлю еще, что именно во имя народа я и беспощаден в отношении отравляющих атмосферу нелюдей, в отношении кровожадных маньяков; которые повергли нашу страну в пучину страданий и бедствий, и в отношении их последние — упоенных властью нуворишей, окончательно разваливших хозяйство и растливших изверившийся народ. Я уверен, что когда-то, но обязательно это будет: мы очистим наши стада от шелудивых овец, мы освободимся от горе-руководителей и от своих рабских привычек. Но это только первый этап, только вступительная глава. Вероятно, потребуется новый, специальный свод законов, который бы гарантировал невозможность каких бы то ни было «культов личности» в будущем. Как я хотел бы дожить до этого благословенного дня!

Ну вот, я поведал кое-что из противоречивых, сумбурных мыслей, из хаоса, заполняющего мою душу. А теперь возвращаемся в ЦРМ, в 1947 год. Столько еще нужно рассказать, а я застрял на этом 1947 годе, на самом благополучном островке моих скитаний и моих «Стёжек-дорожек».

Насколько мне запомнилось, я, отклоняясь от основной темы, оставил зе-ка Четверикова в бараке рядом с зе-ка Никишиным, «старым журналистом». Этот «старый журналист» придумал еже-

дневно перед сном устраивать прогулку и весь прогулочный час посвящал антисоветским разговорам, вернее,— антисоветскому монологу, потому что я только слушал, а он говорил и изрекал не блиставшие новизной сентенции: что Россия погибла, что от за-силья большевиков нас спасет только Америка... Слово «Аме-рика» он повторял столько раз, что у меня в ушах звучало только оно: «Америка... Америка... Америка...» Вскоре я понял, что Никишин просто глуп. Глуп и неинтеллигентен. И нам, собственно, разговаривать не о чем. Вообще он мне здорово надоел, особенно своей липучестью.

Между тем Ляшко решил взять меня на работу к себе в тех-бюро чертежником. Но прежде чем приступить к должности, я попал в руки Соболевского и его приятелей. Они подхватили меня под руки, как только я миновал вахту.

— Вам будет у нас хорошо,— наперебой говорили они.— Ляшко — это душа-человек, с ним можно поладить.

— Меня другое беспокоит, друзья мои...

— Что такое?

— «Мартышка к старости слаба глазами стала»... Боюсь, что чертить не смогу, в тюрьме у меня вдруг резко упало зрение, а без этого какой я чертежник...

— Ну, ничего, что-нибудь придумаем!

— Не беспокойтесь, Борис Дмитриевич, раздобудем или сма-стерим вам очки, не боги горшки обжигают!

(В скобках замечу, что я слушал их с благодарностью и гру-стью: хорошие ребята, в два голоса утешают и обнадеживают меня, но что они могут придумать в этой Тьмутаракани да в под-невольном арестантском положении? Но они достали-таки очки! До сих пор не могу понять, каким образом, но достали. Плохонь-кие, на проволочках и веревочках, но спасительные мои очки, пер-вые в моей жизни, я с ними и вернулся в Ленинград, берег их все десять лет как зеницу ока!)

— Вы пока знакомьтесь с обстановкой, осваивайтесь,— продол-жали разговор мои новые друзья.— Народ у нас все ладный, под-ходящий. Только вы не запомнили инженера Николаева?

— Это у которого карандашки, карандашки?

— Точно! У вас хороший глаз. Именно так: карандашки, ка-рандашки... Днем он слушает нашу болтовню, а вечером после работы остается в техбюро и пишет досье для оперуполномочен-ного с оценками наших взглядов, настроений, поведения. Так вы это учтите и лучше всего избегайте с Николаевым разговоров вообще, каких бы то ни было.

— Ясно! Благодарю за совет. Вот уж никак бы не подумал!

В техбюро была проходная комната, служившая и раздевал-кой, а из нее одна дверь вела в кабинет Ляшко, другая — в боль-шую светлую основную комнату, где угол налево занимал Нико-лаев, а справа размещались остальные. Стол Николаева запирался на ключ и выделялся потрясающим порядком: все там знало свое место, все было красиво, и действительно сразу бросались в глаза

разноцветные карандаши, резинки разных фасонов, линейки, но ничто не подчеркивало специальности хозяина стола, а просто было нарядно, ярко и впечатляюще. Впрочем, я только издали разглядывал этот стол, тем более что мое рабочее место было не в общей комнате, которая занимала больше чем половину всей площади, а в проходной.

Под самодеятельный голосовой туш мне вручили «исторические» очки (все смотрели, как я их примерял, и ждали с замиранием сердца, что я скажу, а я был растроган и счастлив: очкигодились!), дали готовальню, ватман и заказали начертить никому, по-моему, не нужную деталь какой-то машины. Вот я и начал помаленьку чертить.

Из большой комнаты слышался говор и смех молодежи. Из кабинета Ляшко доносилось легкое покашливание. Меня поместили так, что в открытую дверь общей комнаты мне как раз виден был Николаев. Он вел себя превосходно: и работал, и откликался на все шутки и остроты, и любезно предоставлял пользоваться его «собственной» логарифмической линейкой. Я-то видел презрительные физиономии сотрудников техбюро. Неужели не замечал этого сам Николаев? Они только лишь не фыркали ему в лицо!

Я нарочно пришел как-то вечером на заводскую территорию. Везде были притушены лампочки, но сияли светом окна техбюро. Оно было безлюдно, один только Николаев сидел за своим кокетливым столиком. Он трудился в поте лица — что-то такое строчил. Он однажды мне сказал, что удивляется, как это я могу писать столько писем, и уверял, что не может написать и двух строк. Ему не следовало этого говорить. Двух строк не связать? Однако сейчас, не подозревая, что я наблюдаю за ним, он с жаром исписывал страницу за страницей.

Я рассказал о своем наблюдении Соболевскому. На следующий день Соболевский сладким дрожащим голосом высказал Николаеву опасение, что он подорвет свои силы, работая кроме обязательных часов еще и вечерами. Николаев, забыв, что уверял меня, как ему трудно одолеть две строчки, горячо возразил:

— Что вы, дорогой! Я вечером не работаю. Но у меня осталось столько друзей там, на воле, по вечерам я пишу письма.

— А недавно удивлялись, что Борис Дмитриевич много пишет,— вздохнул с притворным сочувствием Соболевский.

— Кто много врет, должен располагать хорошей памятью,— поучительно произнес приятель Соболевского, ни к кому не обращаясь.

— Что вы хотите этим сказать? — вскинулся Николаев.

— Это я о Четверикове,— снаивничал остряк.— Если он пишет много писем, надо иметь хорошую память и не перепутать, кому что написал.

Общий взрыв смеха. Николаев счел за лучшее присоединиться ко всем, к их шутливым упрекам Четверикову. Я поддержал общую мистификацию:

— Приношу всем извинения! Больше не буду писать писем, пока не разовью память!

Смех и шум, поднятые в техбюро, достигли ушей Ляшко. Он показался в дверях и конфузливо, но все-таки сделал замечание:

— Товарищи зеки! А кто же будет работать?

Прогулки с Никишиным по вечерам продолжались, а мое терпение подходило к концу. И тут однажды иду я на работу — утро, еще не рассвело как следует, и вдруг — как из-под земли выскочил — очутился возле меня один из мелких воришек.

— Вы с напарником и посылками делитесь, и всем, — почти шепотом пробормотал он, — а вы вот в техбюро направляетесь, а ваш напарник в хитрый домик проскочил, с кумом побалачкать...

— Что? Что? — пораженный, переспросил я.

Но никого уже не было. Как внезапно появился этот шкет из нашего барака, так внезапно и исчез. А я даже остановился — стоял и старался все осмыслить. Вот и ругайте этих уголовников! А они проследили за Никишиным и предупредили меня!

Надо сказать, что есть категории людей, уважаемые ворами, хотя вообще-то они презирают кроме своей братии весь свет. Это, во-первых, адвокаты. Адвокат на языке блатных — «золотой человек». Во-вторых, писатели, их тоже жалуют блатняки: кто его знает, может быть, сядет да напишет книжку про их «подвиги». Узнав, например, что я писатель, они принимались врать напраполю. Тот рассказывает, что пятнадцать милиционеров убил (милиционер — «мусор» на их языке). Другой повествует во всех подробностях, как ограбил банк... Но, кажется, наибольшим почетом пользуются у блатных медицинские работники. Через них можно получить освобождение от работы по болезни, можно добыть «калики-моргалики»: опий, морфий, на худой конец — кодеин. А среди блатных немало морфинистов, наркоманов.

Был со мной такой случай. Подходит ко мне однажды некто из блатного мира и весьма учтиво, по способу «Фан Фаныч — Сидор Поликарпыч» обращается:

— Борис Дмитриевич!

Ну, думаю, будет просить морфий, а я им никогда никаких поблажек не давал.

— В чем дело? — спрашиваю довольно сердито. — Чего это ты такой вежливый?

— Борис Дмитриевич! Может быть, вам здесь кто-нибудь не нравится?

— Ну и что? Как это — не нравится? Ты о чем?

— Я же говорю: может быть, вам на лапункте кто-нибудь не по душе, так скажите — и я могу его убить.

— Ты что, сдурел?!

— Я вам объясню. Мне все равно надо кого-нибудь убить, мне это положено. Так если вам надо — пожалуйста, уберу.

Как вам это нравится? Удружить мне, значит, заодно хочет! Это мне припомнилось, пока я стоял, ошеломленный предупре-

ждением насчет Никишина. Бывало, как видите, что мне еще и не так старались угодить! Но шутки шутками, а сейчас я лихо-радочно перебирал в памяти, не наговорил ли чего лишнего на прогулках с Никишиным. Нет, вроде только останавливал его то и дело и просил «переменить пластинку». Но кто ему помешает приписать все слова мне — и о том, что нас спасет Америка, и все остальные наивнейшие антисоветские речуги?

Я долго не мог прийти в себя. Так все хорошо сложилось, так обо мне позаботились эти милые люди — и Соболевский, и Ляшко... И все рухнет из-за этого кретина?! И как я сразу не догадался, что это низкопробный, необразованный и неумелый провокатор?!

В обеденный перерыв мы шли гурьбой в столовую. Пища была плохая, но зато аппетит у всех хороший. Мы спешили, и я не сразу сообразил, что рядом со мной шагает Николаев. И тут мне пришел в голову, по-моему, прямо-таки гениальный план.

— Как, Борис Дмитриевич, дела? — заговорил Николаев. — Обживаетесь?

— Спасибо, осваиваюсь помаленьку, и все бы ничего, да одна неприятность...

— Что такое? — с острым любопытством быстро спросил он.

— Как бы вам объяснить... На соседней наре поместился со мной один, как он говорит, бывший журналист...

— Так-так. И что же?

— Понимаете, сидит он давно, ему тоскливо, и он избрал меня для душевных излияний... Говорит всякую чушь — про Америку, про Советскую власть, ругает все, противно слушать... Я его останавливаю, а он долбит свое... Я ни в чем не виню его, он — сказать мягко — с несколько сдвинутой психикой. Но меня это очень утомляет и раздражает.

— Вполне понимаю вас! Это кто же такой?

— Точно не знаю. Кажется, Никишин.

Тут нас обогнал Соболевский. Он спешил на выручку: меня всячески оберегали от общения с Николаевым. И вскоре мы уже бойко управлялись со своими порциями, позвякивая ложками — индивидуальными, у каждого своя и свято хранимая.

Через два дня как раз в вечерний час, когда Никишин обычно приглашал меня на прогулку, в наш барак вошел надзиратель:

— Никишин! С вещами!

Я видел растерянность Никишина. И еще: видел скрытые улыбки обитателей барака. Вот черти, они все понимали!

Никишина услали на другой лагпункт. Погорел голубчик.

Чтобы к этому больше не возвращаться, сразу же расскажу, так сказать, концовку истории с Никишиным.

Уже миновал XX съезд партии. Я уже в Ленинграде и получил не блестящую и не сразу, а через год — «жилплощадь»: в коммунальной квартире на Невском, 74, со щербатой лестницей и с пятнадцатиметровым коридором — хоть на велосипеде по нему

езди в кухню и к выходным дверям. Бывшие мебелирашки. Пятый этаж. Лифта нет. Пять семей — каждая в своей клетушке. Одни жильцы — Долодугины: сварливая жена, массивный муж, впоследствии ухитрившийся повеситься лежа, приспособив веревку к спинке своей кровати, две хорошенькие девушки-дочки. В другой комнате — вор Володя, жена у него в прошлом «девица с Лиговки», у них маленький сын. И их препротивная родственница с еще более противной дочкой (редко бывают противные дети, но здесь именно такой случай). Еще жильцы — поинтеллигентнее, страдающие от такого соседства, от коммунальной жизни. Очередь на конфорку в кухне и в туалет. Никакой ванны, раковина в кухне и для умывания, и для посуды — для всего. Общий телефон. Наша с Наташей сдвоенная, с неполной перегородкой комната — в самом конце коридора. Чтобы не утруждать жильцов, мы провели от телефона звонок к нам в комнату — для вызова, когда спрашивают нас.

И вот — телефонный звонок. Наташа берет трубку, а я выжидательно стою в дверях. Наташа мне громко сообщает:

— Тебя спрашивает Никишин. Что сказать? Подойдешь?

— Скажи ему: Борис Дмитриевич велел передать, что его нет дома.

— Так и сказать?

— Так и сказать.

Наташа так и сказала — в точности, как просил я.

Ответ был короткий:

— Понятно.

Мне не хотелось даже объяснять этому обломку человека, как он был разоблачен и как был изгнан из ЦРМ при помощи довольно хитроумного приема: ведь я и Николаева обвел вокруг пальца, использовал его в своих интересах, и двух зайцев убил. Разведчики и соглядатаи нужны? Нужны в каких-то случаях. Но это не такая простая работа, тут нужны умение и — я бы сказал — талант. Вспомним киноленту «Семнадцать мгновений».

И, чтобы уж совсем покончить с этой темой, скажу еще о Николаеве.

Это произошло уже после 1961 года, когда мы с Наташей получили квартиру в новом доме на Петроградской стороне: улица Ленина, 34. Как-то раздался телефонный звонок, подошла, конечно, Наташа, она всегда первая берет телефонную трубку, так у нас заведено.

— Бориса Дмитриевича? — слышу я голос Наташи. — А кто спрашивает? Как это так — неважно, кто спрашивает? Очень даже важно. Потому что, если вы не ответите на мой вопрос, я положу трубку. Ага, вот это другое дело. Как вы сказали? Николаев? Давнишний знакомый по Хабаровскому краю?

Наташа вопросительно смотрит на меня. Я делаю отрицательные знаки.

— Хорошо, я передам Борису Дмитриевичу, его сейчас нет

дома. Когда вернется? Как только управится с делами, ради которых пошел. Всего доброго.

Николаев был упорен. Вернее — он вынужден был, я думаю, звонить: мне почему-то кажется, что ему дали поручение. Он снова позвонил на следующий день. Подошла опять Наташа:

— Николаев? Бориса Дмитриевича?

Я говорю Наташе:

— Скажи ему, что я дома, но не желаю с ним говорить.

— Вы слушаете? Борис Дмитриевич дома, но не хочет с вами говорить. Да, он так сказал. Почему? — Наташа смотрит на меня и говорит под мою диктовку: — Он говорит, что его предупреждали о вас еще на Известковой, в ЦРМ, в техбюро, где вы работали.

Николаев нервничает и что-то бурно возражает и доказывает.

— Разве вы не поняли? — спокойно и вежливо повторяет Наташа. — Борис Дмитриевич не хочет с вами ни разговаривать, ни поддерживать отношения.

В третий раз повторилось то же, и под конец разговора с Наташей Николаев вдруг наивно воскликнул:

— Так как же тогда быть?

И Наташа громко, внятно произнесла то, о чем мы уже заранее договорились на случай еще одного звонка Николаева:

— Борис Дмитриевич советует вам сказать своему патрону, что так, дескать, и так, Четвериков не хочет со мной даже разговаривать по телефону. А если у вашего патрона есть какие-нибудь вопросы, Борис Дмитриевич на них охотно ответит ему самому, без всяких посредников.

Больше Николаев не звонил.

С тех пор прошло почти двадцать лет, не знаю, что и как с Никишиным и Николаевым, живы ли они и что поделявают. Возможно, на пенсии, а может быть, уже прошли свой скромный жизненный путь. Ведь это я такой неугомонный, что все тружусь, все кручусь, все переживаю, все воюю, все пишу. А зачем? Не знаю.

И вот здесь я хочу сказать о Наташе, поскольку упомянул ее в связи с этими телефонными разговорами. Эта моя книга — летопись. Здесь я должен и могу себе позволить говорить обо всем прямо, открыто, без обиняков, не считаясь ни с родством, ни со свойством. И уж о ком — о ком, а о Наташе я расскажу на особую: все эти годы она — свет моей жизни, без нее не было бы ни меня, ни моих книг, ни моего счастья. Это я не для красного словца говорю, а всерьез. Потому я и тружусь-кручусь, пишу и воюю, что со мной моя Наташа, с которой мы отпразднуем серебряную свадьбу через полгода с небольшим — в июле 1981 года. Это счастливейшая полоса моей жизни, период сотворчества, единомыслия и любви, когда мы рука об руку с Наташей трудились и отдыхали, смеялись и переносили невзгоды. Никогда я так вдохновенно, восторженно не работал, никогда не создавал столько новых и новых произведений — одно за другим. За два десятилетия вышли в свет: диалогия «Котовский», трилогия «Утро» — «Навстречу солнцу» — «Во славу жизни», только в этих пяти книгах



150 авторских листов. Но в этот же период я написал прорву новых повестей и рассказов, уйму стихов и поэм. В этот же период я прошелся карандашом по многим своим произведениям двадцатых—тридцатых годов и выпустил два тома довоенной прозы. Наконец в этот же период я пишу и эту книгу — мое святая святых.

Счастье — спутник удач. А откуда, за что свалилось мне такое счастье в лице моей Наташи — не могу постигнуть. Она ИЗЛУЧАЕТ сердечность, доброжелательность. Это не только мое мнение, об этом говорят все, кто ближе с ней познакомится. Я лично впервые встречаю женщину с такой щедрой душой и горжусь, что она — моя жена и мой друг. Это мой первейший помощник, соратник, мой официальный представитель в деловых кругах, мой секретарь в самом подлинном и широком смысле этого слова, а порой и настоящий мой соавтор. Мои друзья добавляют: «И ваш ангел-хранитель, и ваш добрый гений, и неистовый почитатель и пропагандист вашего творчества». Да, воистину так.

Мои книги Наташа не просто знает, а знает чуть не наизусть. Иногда она произносит какую-нибудь фразу и спрашивает:

— А ну, скажи, в какой это у тебя вещи?

Память у меня прочная, не жалею, но все-таки иногда я не сразу отвечал на заданный мне Наташей ребус, а изрядно подумав и порывшись в мозгах.

Наташа и сама писала стихи, в студенческие годы печатала их в уфимских газетах. Не знаю, куда устремился бы ее талант, — в педагогику или в поэзию. Но тут произошла наша встреча, и вся жизнь Наташи повернула по новому руслу. Надо сказать, что помимо всего прочего Наташа — еще и моя племянница. Правда, всегда жила далеко от меня, в Уфе, и в ее детские годы я видел ее всего раза два-три. Перед самым арестом, в конце 1944 года, мне удалось на «дугласе» слетать на несколько дней в Уфу — не пассажирским рейсом, а просто со знакомым летчиком. Видимо, я чувствовал, что скоро буду выключен из жизни, может быть, навсегда, и мне невтерпех захотелось повидаться с матерью; с сестрой и с Наташей — тремя родными существами, уцелевшими после всех катаклизмов. В нашем семейном альбоме сохранилась фотография: я и Наташа в 1944 году в Уфе.

За свою жизнь Наташа тоже хлебнула немало злоключений. А когда узнала о моем возвращении в Ленинград, немедленно приехала ко мне и немедленно взяла на себя все обо мне заботы. Шестого апреля я вернулся (этот день мы всегда празднуем как второе мое рождение), а ко второму июля — к моему 60-летию — Наташа была со мной. Я сходил к юристу и, узнав, что брак с племянницей разрешен законом, «предложил ей руку и сердце». Так мы и зажили, так и живем душа в душу четверть века, невзирая на 27-летнюю разницу в возрасте. Вот когда я получил награду за все пережитое!

Сколько времени для творческой работы высвободила мне моя Наташа! Когда я задумался над этим, я понял: вот где причина необычайной продуктивности этого двадцатилетия моей жизни.

Наташа с первых дней включилась в мою работу, быстро научилась печатать на старом «ундervуде» — единственной сохранившейся от доарестной поры вещи — и с тех пор ни одной моей строчки не печатал никто, кроме нее. (Не у многих среди нашей писательской братии найдется машинистка с высшим филологическим образованием!) Наташа охотно обсуждает со мной мои замыслы, вдумчиво относится ко всему мною написанному и высказывает очень здравые и глубокие суждения (отнюдь не всегда только лестные для меня!), которые я очень ценю и к которым непременно прислушиваюсь.

Наташа взяла на себя заботы о тишине, о бумаге, о скрепках и папках — о тысяче мелочей, без которых невозможно работать, а также о необходимых мне книгах, добывая все нужные для работы справочники и материалы из Публичной ли библиотеки, из архивных ли дебрей. Наташа сняла с меня все переговоры с издательствами и редакциями, всю деловую переписку, всю организационную часть, которая как раз всегда претила мне. Теперь весь день и вся ночь — мои. Да и Наташа вжилась в мой уклад и навык: теперь и она больше всего любит работать после двенадцати часов ночи, когда ни телефонных звонков, ни хозяйственных забот. Я запретил себе играть в шахматы и преферанс, я не ведаю, что такое почта и жилконтора, я не знаю, что такое возня с машинистками, я не подхожу к телефону без крайней надобности, не бегаю по магазинам и учреждениям — все подчинено работе. И очень важно, что я могу строить рабочий день, как хочу. Могу работать в любое время дня и ночи. И могу отдыхать, когда чувствую потребность в отдыхе. Такие прекрасные условия для работы — заслуга исключительно Наташи. А в жилище нашем все до мелочей приобретено и устроено ею. Квартира живет ее энтузиазмом. Наташа выискала, облюбовала каждую-каждую вещь, которая у нас в доме, начиная с кастрюль (все как одна белые!), с полотенец и кончая одеялами и коврами, сервантом и пианино. Наташа находит всех мастеров, когда что-то испортится, сломается, выйдет из строя, она ведает всеми платежами, всем нашим бюджетом, всей семейной бухгалтерией, — мне обо всем об этом и думушки нет.

Но самое главное — это наша безграничная и все вырастающая любовь, наши самые хорошие, самые сердечные и самые светлые отношения. Наташа наполнила квартиру восторгом, упоением, говором, музыкой, телефонными разговорами, пением, ласковыми словами, поцелуями, рассказами, какие видела сны и что заметила интересного, когда ходила по делам по городу. Словом, Наташа — моя жизнь, мои радости, Наташа — все! Да, большое счастье, что у меня есть Наташа. И еще — что у меня такая приветливая, добрая, верная и преданная сестра, самая младшая из нашего четвериковского выводка — Вера. Нам троим ничто не страшно.

Конечно, самое удачное лето не бывает без облаков, а то и без бурь, черных туч, гремливых гроз и ненастного чересполосья. Были у нас за эти годы большие радости, интересные поездки и

встречи, появилось у нас много настоящих друзей, ярких, незаурядных и очень разных. Но были и болезни, и удары, и разочарования, и трудности. Было и вдоволь экзотики. Взять хотя бы только первый наш совместный год, когда мы с Наташей поселились в Карташевке и жили среди леса, двое в огромном доме, имея из собственной мебели две табуретки и две раскладушки.

Как мне объяснили, я мог судом вернуть свою прежнюю квартиру. Но я не захотел выселять людей, которые знать ничего не знали о происшедшем со мной, а просто получили ордер на свободную площадь. Союз писателей обещал мне квартиру в строящемся доме, и я согласился пока что арендовать две комнаты в большом двухэтажном доме, принадлежащем Литфонду: каждое лето он сдавался семьям писателей под дачи, а зимой пустовал. Вот там мы и прожили больше года. И там я написал «Котовского» — всего за год! — первый вариант романа под названием «Повесть о Котовском», вышедший в 1957 году.

Наташа с изумлением наблюдала, как я работаю, вообще на практике изучала жизнь писателя. Ей теперь было не до своих стихов. Она денно и нощно сидела за машинкой, вела наше несложное хозяйство, то и дело ездила в город для связи с моим редактором и для добычи необходимых мне материалов... Вообще приходится признаться, что я начисто «съел» Наташин талант, забирая все ее время и все силы, хотя вечно пилил ее, что она забросила сочинительство. Зато наше творческое содружество стало нерасторжимым.

Можно представить мое состояние в первые дни и месяцы по возвращении к жизни. Цинготные явления. Все еще не прошедший психический шок (я милиционеров первое время боялся: встречу на улице милиционера — и инстинктивно поворачиваю домой). И в то же время — прилив сил, желание работать и — что было важно — понимание, что я стал жертвой не Советской власти, не Коммунистической партии, но как раз врагов Советской власти в расцвет бериевского ГПУ, вставшего над партией. Если я не совсем понял это, то во всяком случае почувствовал. Советская власть только попустительствовала репрессиям, только смотрела беспомощно, как истребляют народ. Мне повезло: я реабилитирован не посмертно и могу сам рассказать о своем возвращении к жизни, о своем утверждении в жизни, что не так легко в 60 лет. Без Наташи я вряд ли выдержал бы это, как и вряд ли вынес бы те уколы по самолюбию, то замалчивание, ту, в сущности, травлю, о которой я уже довольно подробно писал.

Ну-с, вернусь к описанию лагерной жизни, которое у меня продвигается медленно, потому что я все время отвлекаюсь. Но как же не сказать хоть несколько слов о Наташе, о Наталье Борисовне, которой я обязан жизнью и, можно сказать, всем?

Итак, Никишина убрали вон из ЦРМ. Я видел улыбающиеся рожи на нарах: это они, блатари, выручили меня из беды и откоро-

венно радуются. И мне приятно, что я чем-то понравился блатному миру: не каждый заработает такое признание.

В эти дни я лично наблюдал действие неписаного закона: «Пайка священна, пайку не отнимать». В нашем бараке кто-то ночью съел чужой хлеб. Старший блатной помещался как раз напротив меня, и я видел, как ему докладывали об этой пропаже. Я удивился, что он пропустил это сообщение мимо ушей, будто и не слышал. Оказывается, очень даже слышал и тотчас принял меры. Позавидуешь! Если бы в нашем государстве так оперативно реагировали на сигналы! Наутро один паренек оказался перемазанным: пайку хлеба посыпали наструганным химическим карандашом, зеркал в ЦРМ нигде, кроме женского барака, нет, ночью вор ел хлеб в темноте и выпачкал и руки, и щеки, и даже нос. Не понадобилось ни следствия, ни дознания — вор сам доложил о своем преступлении. И его били. Не по злобе, а по общественному долгу. Кажется, забили насмерть. Это было страшное зрелище и запомнилось мне очень.

Вскоре освободилось место в доме интеллигентов — технического персонала, как раз напротив клуба, где я видел аютины глазки: Это не барак, а дом. В нем не нары, а нормальные железные кровати. И меня поселили в этом раю. А все Ляшко и молодежь, работающая в техбюро. Теперь я выискал свободный уголок в нашем жилище, где мог расположиться с масляными красками, с палитрой, которую мне изготовили у нас на заводе и преподнесли так же торжественно, как очки. Большею частью картины я кому-нибудь дарил, но были платные заказы, и это допускалось на ЦРМ, — можете представить, какой это был лагерь! Рисование давало мне небольшой дополнительный доход, и я улучшил свое питание. Однако работа в техбюро отнимала много времени, а темнело рано, рисовать удавалось урывками. И тут я поразил всех эксцентрической выходкой: ушел из техбюро и взял должность... ночного сторожа, по отзывам моего предшественника — полезную и не мешавшую поспать, как делают все классические сторожа и стражи.

Однако для сна было серьезное препятствие: почему-то место для продуктового склада, который я должен был охранять, выбрали не на окраине, а в самом центре лагпункта. Это было неказистое, но прочное сооружение из толстых бревен и железных скреп. Зная, что для воров скрепы и замки — не препятствие, могли ли я спокойно спать? И вот я придумал один фокус, который возможен только при хорошем знании психологии уголовников. В помощники себе для исполнения этого замысла я взял того же Соболевского: все знали, что он инженер, что он работает в техбюро, а это в моей затее было важно.

Мы с Соболевским днем, у всех на виду, долго ходили вокруг складского помещения. Затем Соболевский принес электрический кабель, какую-то проволоку и много каких-то сверкающих сталью, гремящих в ящике приборов. Он ползал по земле, что-то измерял, что-то записывал, я ему усердно помогал, причем мы видели, что

за нами издали внимательно наблюдают, но мы делали вид, что увлеклись работой и никого и ничего не замечаем. Иногда мы спорили между собой, я выражал какие-то опасения, качал головой, сомневаясь, а Соболевский мне с жаром что-то доказывал. Так, споря, мы со всеми инструментами удалились. А поздно вечером Соболевский еще раз приходил к складскому помещению и долго возился там: то копал землю, то перематывал провода, то ковырялся в замочном устройстве и чего-то привинчивал, мастерил. За ним, конечно, тоже незримо следили. Потом Соболевский пришел ко мне, я крепко пожимал ему руку и незаметно, но достаточно заметно для тех, кто наблюдал за нами, вручил ему две сторублевки, которые он же у кого-то на время выпросил. Это мы проделывали перед зданием ИТР, где я теперь жил, причем все с тайственными ужимками и оглядкой.

Основное было сделано. Оставалось немного. Я улучил момент и обратился к одному из блатных, уведя его в сторонку:

— Вы спасли меня от гибели, век вам этого не забуду. Никому не рассказывай, я сообщаю тебе большую тайну. Мне знающие люди помогли — конечно, не бесплатно — наладить особое электрическое устройство, и теперь кто прикоснется к замку на складе или даже к ручке двери, тот так и останется стоять, припаянный током. Меня назначили сторожем, случись что — упекут куда-нибудь на строгача. Вот я и поставил такую штуку. Но не хочу, чтобы ты, Ванек, и ваши ребята попались. А штука такая — будь спок! Прикует запросто, можешь мне верить. (Тут я произнес известную мне блатную клятву, совершенно неприличную.)

Мой собеседник слушал меня внимательно, иногда только приговаривая: «Примóчка!», «Не видать свободы»... «А что я — ни разу не грамотный?»... «Это будь уверочкин»... «Клёво!»

И вскоре его как ветром сдуло.

А я, приняв должность ночного сторожа, вечером прогуливался вдоль бараков, а потом забирался в необитаемый клуб и заваливался спать до утра. Предупрежденный мною Ванек при встрече со мной заговорщицки улыбался. Но уж, конечно, он предупредил всех воров. И у меня образовались свободные дни. Я еле успевал выполнять заказы на картины. Впоследствии я убедился, что повсюду любят «Аленушку», «Трех богатырей» и Серого волка, уносящего на спине счастливых влюбленных — Ивана-царевича с похищенной им девицей. Некоторые из этих копий я делал в конце концов наизусть, запомнив каждый штрих и каждый оттенок. Впрочем, я немножко своевольничал, заставляя Аленушку грустить еще больше, чем у Васнепова, а Ивана-царевича улыбаться, зато коней богатырям изготовлял на славу. А замки на продовольственном складе надежно охраняло хитроумное электрическое устройство, которое существовало только в воображении легковых воров.

Такая жизнь продолжалась недолго. Всплыл на моем пути мистический Исаакян...

Это был тоже заключенный, но он слыл финансовым чудодеем, и его назначили на ЦРМ директором финчасти, что ли, я не знаю, как это точно называется,— может быть, не директором, а начальником финчасти или завом. Факт тот, что Исаакян навел порядок в финансовых делах ЦРМ, устранил возможность каких-либо махинаций, наладил контроль, установил отчетность и так подтянул аппарат, что боялись его все как огня.

И как это Исаакян высмотрел меня? Впрочем, и мое рисование... и самодеятельность я уже наладил... Я забыл об этом рассказать: уже шли репетиции, уже сколотили мы струнный оркестр и драмкружок... А может быть, шепотком рассказали Исаакяну, как я обезопасил от воров продовольственный склад, или кто-то читал мои книги и рассказал Исаакяну обо мне?

Так или иначе, но ко мне явилась делегация, и все они были настроены торжественно, все благоговели перед Исаакяном и чувствовали себя этакими архангелами Гавриилами, несущими мне благую весть:

— Борис Дмитриевич! Можно вас поздравить!

— Спасибо. Но с чем? Амнистия?

— Амнистии нет. Но Исаакян приглашает вас к себе в финансовую часть на должность архивариуса. Нам поручено сообщить вам об этом, мы считаем, что это очень лестное и очень приятное предложение.

Я молчу, несколько озадаченный и немного смущенный: мне неохота уходить из ночных сторожей.

— Так что передать Исаакяну?

— Вы, пожалуйста, не сердитесь на меня и не обижайтесь. Я вполне доволен своей должностью... -

— Вы шутите! Интеллигентный человек, известный писатель, у нас даже была одна ваша книжка — «Солнечные рассказы»... Ваша? Вы писали? И как же так — ночной сторож!..

Я объяснил им, почему мне подходит эта должность, но это не подействовало:

— Вы хотите побольше свободного времени? Будет у вас много свободного времени!

— Подождите, есть еще одна причина, мне очень не хотелось об этом говорить... Но, видите ли, я не люблю бухгалтерию, мне не нравятся бухгалтеры... Я даже в рассказах, когда пишу... если у меня отрицательный персонаж, я почему-то обязательно делаю его бухгалтером...

Делегация была явно обескуражена, огорчена, и мы расстались. Но на следующий день они снова отыскали меня:

— Исаакян настаивает, чтобы вы пришли к нам, он вас уважает и обещает, что вам будет хорошо. Архивариусом не может работать любой, в его ведении будет весь архив, а половина его — совершенно секретные материалы. Это одно. Общаться с бухгалтерией вы будете, если только пожелаете сами. К вам в помещение вход воспрещен. А заняты вы будете не так много, лишь бы архив был в порядке и переплетены в отдельную папку все документы.

И в свободное время хотите читайте, хотите рисуйте, никого это не касается. Вы будете облеченный большим доверием человек!

Словом, мне стало как-то неудобно, получалось, что я ломаюсь, набираю себе цену. . . И со следующего дня я приступил к обязанностям архивариуса. Ну, тут, знаете, блаженная для меня началась жизнь, хотя и бессодержательная, не совсем мне понятная. Очевидно, я был как бы стражем, хранителем архива, который вообще-то, по-моему, никому не был нужен. Но коли уж он есть, без призора нельзя его оставлять? Вот я его и охранял, я был за него лично ответственен, я его и пополнял ежемесячно, и переплетать научился. И мог бы так отбыть весь срок под покровительством Исаакяна. Но впереди меня ждали бесконечные неожиданности и все новые скитания. Так уж получалось.

Прежде чем перейти к этим неожиданностям и дальнейшим перемещениям в моей судьбе, мне хочется рассказать еще о двух Лидах, обитавших в ЦРМ, в том самом бараке, который был укреплен изнутри от любовных атак.

Одна Лида — скромная, милая девушка, самая обыкновенная и, как видно, очень просто смотрящая на вещи, о которых обычно не принято говорить. Эта Лида пришла однажды в наш барак и спросила, может ли она видеть Бориса Дмитриевича. Из этого я делаю лестный для меня вывод, что я уже тогда пользовался в ЦРМ большим авторитетом, ибо Лида пришла посоветоваться со мной относительно весьма щекотливого вопроса. Но растерялась не она, а я, когда она, выйдя со мной из барака, сказала мне буквально следующее, глядя на меня в упор светлыми, чистыми глазами святой невинности:

— Борис Дмитриевич! Научите меня, что мне делать: все хотят, все просят. . . Не дашь — обижаются. Дашь — говорят, проститутка. . . Но ведь не могу же я со всеми. . . Мне больше не с кем посоветоваться, кроме как с вами.

Я не сразу вышел из шока, в какой повергла меня эта самая Лида именно тем, что она говорила о таких деликатных вещах просто и спокойно, как будто речь шла о том, записываться ей в драмкружок или не записываться. Тут и отшутиться было невозможно, и помочь невозможно. Но на доверие надо отвечать доверием, участием. Я призадумался, а Лида стояла передо мной смиренно, очевидно веря, что я могу разрешить любое недоразумение и любое затруднение. Она ведь видела, как меня беспрекословно слушается вся молодежь, участвующая в клубной работе, — певцы и музыканты, актеры и декламаторы.

Я сказал Лиде, что подумаю над ее вопросом, и стал расспрашивать ее, есть ли у нее подруги, выделяет ли она кого из ребят. Вскоре выяснилось, что ей приглянулся один солист нашего цээрэмовского хора Алеша, который тоже был равнодушен к ней. Мне Алеша нравился. Лида, узнав об этом, даже вспыхнула вся:

— Правда, он хороший? И вы так считаете?

Вечером в помещении клуба собирается много народу, приходят даже те, кто ни в чем не участвует, — куда еще деваться вече-

ром? И вот я вошел и затесался в эту веселую, неунывающую толпу, а потом вылез на эстраду и объявил:

— Товарищи зеки и зекши! Сегодня у нас будет не обычная репетиция. Сегодня я хочу ко всем вам обратиться с вопросом, который рано или поздно задает себе каждый человек. . .

Я сделал паузу и дождался, когда все лица повернулись ко мне. Все почувствовали, что разговор предостит особенный, нештучный, и строили догадки, о чем пойдет речь.

— Этот вопрос,— продолжал я,— я и поставлю перед вами: что такое любовь, как вы представляете это? Думали ли вы об этом или никогда не задумывались?

Мне не дали договорить. В ответ все ахнули, а потом раздался дружный смех: вот это отколол номер наш Борис Дмитриевич! После взрыва смеха образовалась заминка: было подозрение, что разговор-то заведен неспроста, но все не понимали, что же дальше.

Я повторил:

— Так кто же хочет высказать свой взгляд? Что такое любовь?

— Всем известно! — выкрикнул кто-то. — Любовь это и есть любовь.

— А все-таки?

— Вон девчонки объяснят, что это за штука.

— А мужчинам это неведомо?

Я понял, что внятно и обстоятельно никто не собирается высказываться. И стал говорить сам — о том, что любовь царствует на земле, что каждый мужчина, каждая женщина мечтают испытать это высокое чувство, но зачастую любовь подменяют всякими недостойными поступками. . .

Я побоялся пересластить. Народ тут бывалый, его очень-то не разнежишь. И я только объяснил, что взаимное влечение мужчины и женщины и желание соединить судьбу, создать семью и беречь друг друга, уважать друг друга — вот что такое любовь.

Все слушали все еще с недоумением, и тогда я раскрыл карты:

— Любовь не знает препятствий. Казалось бы — неволя, люди за колючей проволокой. . . И представьте: у нас на ЦРМ обнаружили два любящих существа. Им стыдиться нечего, и я назову их: наша милая Лида и наш общий любимец Алеша.

(Разумеется, я назвал и фамилии, но не помню их, потому и не привожу.)

— Борис Дмитриевич!! — раздался отчаянный вопль Лиды. Ей показалось, что я хочу ее подвергнуть общему осмеянию.

— Товарищи зеки! Мы все знаем и любим и Алешу, и Лиду. В наших условиях нет возможности пойти в загс, но мы отметим сегодняшний вечер, как обручение, а там, глядишь, и сыграем свадьбу. А я ко всем вам обращаюсь с просьбой: зорко охранять эту любящую пару от всяких оскорбительных выходов, от приставаний. Предлагаю поздравить жениха и невесту. Ура!

«Ура» прокричали, но тут же поняли мой ход: Лиду не трогать, к Лиде не лезть, она невеста Алеша, а не просто беспутная девка. И все смеялись, кричали, вытащили вперед сконфуженных молодо-



женов, которых я ловко обвенчал в условиях лагеря, даже заставили их поцеловаться.

Я проверял: Лиду оставили в покое. Интересна ее дальнейшая судьба. Вскоре она забеременела и как подгадала: появился указ — беременных женщин досрочно освободить, если, конечно, статья, по которой они сидят, не очень серьезная. Алеша дал Лиде свой адрес, у него никого не было, кроме матери. Лида напрямиком к ней и отправилась: «Мама!» Обнялись женщины и зажили дружно; семейно, поджидая, когда отбудет срок Алеша.

Приятно рассказать об этой счастливой любви. Большую часть в этой области были муки, страдание, отчаяние, а зачастую и драмы. Лагеря в этом отношении были застенками пыток, ЦРМ — счастливое исключение.

Другая Лида (я ведь обещал рассказать о двух Лидях — такое уж совпадение имен) — этакая прочная, дебелая блондинка, вполне сложившаяся как женщина и вполне понимавшая, что требуется мужчинам как таковым от женщин. Эта Лида (по прозвищу Конь-Голова) отбывала срок как профессиональная проститутка. Кроме этой «специальности» Лида ничего не знала и не умела.

Оглядевшись и освоившись, Лида и здесь по мере сил стала вносить свой вклад в общий созидательный труд. Она еще с вечера договаривалась. Утром, проснувшись, старательно умывалась, чистила зубы, вообще занималась дамским туалетом. В заключение пудрилась, подкрашивала губы и шла через проходную на завод — напрямик к электростанции, где существовала маленькая кабинка, запиравшаяся изнутри. Там ее ждал электромеханик, красавец и здоровяк. После электростанции она навещала инженера Константина Константиновича, которого прозвали «Костя в квадрате», затем, побывав у прораба и кладовщика, шла вместе со всеми обедать. После обеда Лида Конь-Голова любила часочек вздремнуть. Два визита экстра-класс она наносила в вечерние часы, когда на лагпункте было безлюдно и тихо. А вечером, после ужина, садилась на скамеечку как раз под моим окном, ее облепляла молодежь, и она делилась со всеми впечатлениями, с невероятными подробностями рассказывая, «как это было».

Когда этот задушевный рассказ прозвучал впервые, я был застигнут врасплох и вынужден был выслушать все от начала до конца. Поражало даже не то, ЧТО рассказывала Лида, поражало, КАК она рассказывала. Нет, Лида вовсе не старалась подчеркнуть непристойность рассказа, да она и не находила тут чего-то непристойного: для нее это было обычным, давно изученным делом и совсем не казалось ей бесстыдством, похабством, цинизмом. Ну что тут такого? Всегда так бывает. Где бы Лида Конь-Голова ни побывала, всюду на нее был спрос. И все без исключения клиенты Лиде нравились. Но, конечно, разные мужчины вели себя по-разному, действовали эти так, те иначе. Лиде нельзя было отказать в наблюдательности, а рассказывала она, называя имена, а имена были всем известны, и это придавало «новеллам» Лиды еще больший смак. Но все это произносилось так запросто и таким милым

женским голосом, правда, с некоторой характерной хриповатостью завязатого курильщика.

Весь этот невольный подслушанный разговор был для меня ударом, был каким-то в чем-то разочарованием и в то же время уроком, лекцией в той Академии Жизни, в которую я попал.

Со временем Лида Конь-Голова стала смелеть и наглеть, постепенно переходя всякие границы. И в конце концов администрация — при всем снисходительном отношении к ней — вынуждена была убрать ее из ЦРМ. Представляете, с какой горечью провожали ее мужчины. Многие помогали ей погрузиться в машину, она увозила шестнадцать чемоданов с «сувенирами» — щедрой оплатой ее «профессиональной любви». Лида села поверх своего честно заработанного имущества, гордая, как императрица. Ей долго махали вслед ее благодарные клиенты.

И я, вспоминая эту, по-видимому, неприличную историю, не могу найти для этой женщины слов осуждения. Как порицать этих обездоленных, этих отверженных? Надо пригвоздить к позорному столбу причины, их порождающие. Если же говорить об этом явлении конкретно, применительно к лагерной ситуации, то я тем более осуждаю не этих несчастных. Я осуждаю и проклинаю всеми страшными проклятиями тех, кто придумал такое издевательство — разъединение мужчин и женщин не на год, не на два, а на десятилетия. Женщины тяжелее переносили отсутствие мужчин, хотя вообще-то и для мужчин, и для женщин это было настоящим мучением. К тому же эта акция обошлась нам, может быть, не в один миллион неродившихся людей — тоже трагедия, тоже следствие всей это вакханалии, когда великое множество людей были отправлены (после тюремных издевательств и пыток) в лагеря. Как же не проклинать всеми страшными проклятиями тех, кто организовал этот режим репрессий и расправ, кто создал государство в государстве — всевозможные Тайшетлаг, БАМлаг, Озерлаг! Беломорканал, Соловки, дорога Котлас—Воркута... Много там полегло народу. Сколько было расстрелянных, сколько перемерло в условиях лагерей, где кормили, например, лошадиным кормом — гальяном, захваченным в числе другого имущества разгромленной японской армии. Эта трава внешне похожа на гречиху, но безвкусна, отвратительна, тошнотворна, я сначала не мог ее есть. «Ешь, а то умрешь,— посоветовали мои товарищи по несчастью.— Внушай себе: это греча, это греча — и ешь». Я пробовал уговаривать себя таким образом, но только доносил ложку до рта, как нутро мое вопило: «Гальян!»...

Раньше я сроду не слышал ни о каком гальяне. Но мало ли о чем я не слышал раньше? О подземных этажах «Большого дома» слышал? О «падающих лифтах» в Лефортовской тюрьме слышал? Об убийствах «при попытке к бегству» слышал? До камеры в тюрьме на Шпалерной я жил в тесном маленьком кругу, где были свои занятия, свой запас знаний, свое видение мира, свои понятия о порядочности, о долге, о чести, об уважении человека человеком. И вот за короткий срок все мои прежние представле-

ния, познания, нормы — все полетело к чертовой матери. И все приходилось познавать заново.

Учили этому новому все: тюремные надзиратели, арестанты, уголовницы, разносившие тюремную кашу, воры, бандюги, «заигранный» Петюнчик, Володя Солнышко, следователь Кулаков и его шеф Андреев, Надежда Фроловна Тарасюк и Лида Конь-Голова.

Но везде, куда бы я ни попал, кто-то был «за меня», кто-то протягивал мне руку: юная уголовница, принесшая мне горошницу, некто в светлом костюме, не позволивший Кулакову упрятать меня в жарилку, тюремный надзиратель, сам, по своей воле решивший снабжать меня свежими газетами. . . С Андреевым не были согласны Николай Николаевич Латышев и еще какие-то знакомые и незнакомые мне люди. . .

Я так скажу: много оборотней, злыдней, очень много всякого хлама, но, в основном, населяют нашу страну попросту хорошие люди. То есть они считают себя самыми обыкновенными, они и на самом деле обыкновенные. Но вдумайтесь: зачем бы девчонке рисковать своим местом на кухне, где она, по крайней мере, сыта и в тепле? А рискнула? Зачем надзирателю со всеми предосторожностями, рискуя попасться, носить мне свежие газеты, хотя он знает, что газета в камере — это скандал, ЧП, ужасный случай нарушения режима и что с ним, надзирателем, расправятся, если узнают? Или — зачем бы главному инженеру ЦРМ, тоже заключенному, хлопотать обо мне, вписывать в мое «дело» справку, что я — фельдшер (думаю, что вся эта «комиссия» была фиктивной, только ради этой справки: ведь в ЦРМ-то фельдшер не требовался — зачем же нужна была «аттестация»)?.. Милый, милый Ляшко! Милые ребята из техбюро, изготовившие мне очки и оберегавшие меня! А финансовый король Исаакян? Ведь я почти год блаженствовал под его крылышком в великолепной должности архивариуса, окруженный дружественным участием всех финансистов, узнавших о моей предубежденности в отношении работников бухгалтерии и теперь наперебой старавшихся доказать, что они, в сущности, весьма симпатичный народ. . .

Но жизнь готовила мне новый сюрприз, новые мытарства. . . А во всем был виноват. . . молибден. Как случайно я попал на ЦРМ (Что это? Счастливым случай? Повезло? Везли-то ведь меня в Находку), так случайно и вылетел оттуда. И не один я, а все обитатели этого благословенного места: началась внезапная ликвидация всей ЦРМ — из-за того, что здесь, на этом самом месте, обнаружили залежи молибдена.

И вот в 1948—49 годах в лютые зимние морозы нас — зеков — повезли на Север. Миновали новый город Ургал. Затем еще сорок километров по тайге, к Дуссе-Алиньскому перевалу. Там руками зека строился двухкилометровый тоннель для БАМа. И везли нас на лагпункт 01-Тоннельная.

Отправляя нас, не скрывали, что мы едем на свою погибель: на Тоннельной хозяйничают уголовники, воры, бандиты, вновь

прибывших сразу же избивают, вещи и одежду отнимают—вообще это разбойничье гнездо.

Понятно, что мысли у нас были невеселые. Но и мысли отошли на второй ряд, главное было то, что мы пропадали от мороза, окончелени, покрылись инеем, не могли говорить—свело челюсти. Продошли арестанты, посинели от холода и солдаты-конвоиры. Где-то в лесу сделали остановку. Спрыгивали с машины и старались размяться и согреться: кто приседал, кто бегал возле машины взад и вперед. И все это молча: конвоиры не могли давать команду, мы тоже слова не могли вымолвить. В голове звенело, глаза слепляло инеем. А двое или трое не могли уже и спрыгнуть с машины, они лежали в кузове неподвижно, скорчившись, мы привезли их мертвыми и никак не могли после распрямить, так и закопали свернувшихся калачиком.

Было не до них: мы ожидали жаркой встречи с блатными, сговорились дать им бой и постараться убить нескольких, чтобы они сразу утихли. Теперь мы махали руками и двигались, чтобы войти в норму. И вот—ворота открылись, мы вошли, напряжинивая мышцы... Оглядываемся—никого, один только нарядчик, вскоре мы узнали и его фамилию: Бородулин,—как можно было представить, пустомеля, неуклюже заигрывавший с зеками, очень многоречивый и явно неискренний человек.

— С прибытием, с приездом, в добрый час, как говорится! Морозец-то ого, сейчас отогреетесь в бараке... у камелька, у огонечка... И чаек сообразим, к ужину-то вы опоздали... — бормотал он, не умолкая.

Мы шли за ним гурьбой, а сами озирались. Только теперь различили в темноте высокую крутую гору, примыкавшую вплотную к лагерным ограждениям,— через эту гору и пробивали тоннель. Да и всюду вокруг виднелись синие очертания горных вершин и черные пятна листовенничного бора. В лагере было удивительно просторно. Влево от ворот вроде бы овражек, а за ним—нетронутые голубые сугробы. Впереди бараки, и в бараках свет—никак, электричество? И где же бандиты, грабители, о которых нам столько говорили?

Потом-то мы все узнали. Да, еще неделю тому назад здесь были убийства, грабежи, разгул Ванёчков и Сергунчиков, картежная игра, поножовщина, «марфуша» и настоящий ад. Но когда начальника лагпункта проиграли в карты и убили ударом финки, сюда был назначен новый начальник—Белов (по-моему, Белов, за точность не ручаюсь, хотя на память не жалею), и все переменялось.

Майор-танкист Белов (или полковник?) бежал из немецкого плена, а потому был «на проверке». Я с ним после хорошо познакомился, и он меня очень уважал, поселил в санчасти и сказал, что работать не заставит, а если я «буду добр и организую концерт», он скажет спасибо. Это был спокойный и незаносчивый человек, но очень решительный, энергичный и бесстрашный. Он тосковал в глуши, но не пил, в отличие от других. Впоследствии

майор был полностью реабилитирован, ему вернули ордена, звания, но это уже после моего перевода на другой лагпункт.

Он и назначение принял спокойно: работа есть работа. И хитрить не стал. В первый же день, как его назначили начальником лагпункта «Тоннельный», утром, на разводе, когда все население лагеря построилось у ворот пятерками в ряду, каждая бригада отдельно, — с терраски здания у самых ворот объявил:

— Я назначен к вам начальником. Довожу до вашего сведения, что всем бандюгам, всем картежникам, всем любителям морфия, всем убийцам и пропойцам пришла хана. Не будет всей этой мрази и чертовщины. Конец. Отгуляли, ироды.

Поднялся рев, свист, «заборная» ругань, в толпе замахали ножами. . . А в ту же ночь вооруженная группа военных по списку собрала из барачков самую отпетую шпану, самых неукротимых, самых знаменитых блатарей и отправила их под усиленным конвоем на штрафной лагерь. В следующую ночь выборочно забрали заядлых картежников и выявленных наркоманов и тоже увезли в спецлагерь, где отсортировывают подлежащих лечению или подлежащих строгой изоляции. И на Тоннельной стало тихо-тихо, мирно-мирно. Обнаружились работяги, выявились умелые, толковые люди, из их числа подобрали бригадиров. А тут пришли два этапа здоровяков-силачей, с которыми блатные станут заигрывать, будут стараться стать с ними на равную или хотя бы раствориться, замешаться в человеческой массе и начать игру в «Фан-Фаныча и Сидора Поликарпыча».

И я снова удивлялся каким-то, ну просто-таки неестественным, повторениям: везли нас к мысу Находка, а попал я в благословенный лагерь ЦРМ, везли на гибель в Тоннельный лагерь, а там оказался полный мир и порядок.

Вскоре приехала к нам сборная театральная группа, составленная из профессиональных певцов и музыкантов, профессиональных драматических актеров — из числа зе-ка, конечно. Они все разбили на пары и жили совсем по-семейному. Их обязанность была — обслуживать все лагпункты какого-то определенного района или отдела, но не Озерлага, в Озерлаг я попал позднее. Эта театральная бригада приезжала на лагпункт, ей выделяли отдельный барак, там они располагались тоже парами и считали свои углы как бы квартирами. Вообще — этикет, вежливость, радушие, галантность, дамам целуют ручки, разговоры о Ленинграде, Москве, МХАТе, Александринке. . . о стилях. . . о Качалове, Горин-Горяинове. . . о литературе и живописи. . . Они, как встретились со мной, так стали добиваться, чтобы меня подключили к их разъездной бригаде, а всем бригадирам на Тоннельной дали строгий наказ и специально об этом вели переговоры, чтобы меня не трогать, на тяжелые работы не гонять, что вскоре они заберут меня к себе.

Время шло, меня в театральную группу не включали, хотя я сам видел прицепленные к моему «делу» многочисленные их заявки, почему-то оставшиеся без ответа. И вот терпение нарядчика

Бородулина иссякло, и он с вечера предупредил меня, что я включен в третью бригаду и завтра мне выходить на работу.

Я молча выслушал это сообщение и на следующее утро стоял в пятерке этой бригады у лагерных ворот.

— Заходим за инструментом в инструменталку! — громко и весело отдал приказ бригадир, коренастый светлоголовый мужчина, которого я про себя сразу прозвал Кудряшом.

И я со всеми вошел в инструменталку — уже по ту сторону ворот — и забрал две лопаты и два кайла, положил их на плечо, они тут же расплзлись, кайло задело меня по затылку, лопаты стали сплзать с плеча, но я справился с ними и шел бравой, лихой походкой, озираясь на кусты, овраги и виднеющиеся на горизонте вершины, пораженный этой силищей, необъятностью, дикой, необъезженной красотой.

Идти оказалось недалеко. Нам предстояло расчистить площадку для какой-то постройки. Кудряш быстро распределил всех — кому что делать. Одни должны были очистить это место от снега, другие — убрать камни и обломки деревьев, снять ледяной нарост. . . Остался без задания один я.

— А вы разметите снег на месте старого фундамента, — показал Кудряш в сторону какого-то разрушенного здания.

Я пошел, куда мне было указано, но там не было ни снежинки. Видимо, бригадир крепко помнил наказ приезжавших артистов. А в лагере на особицу чтут певцов, музыкантов, драматических актеров и даже куплетистов. Чтобы понять это прямо-таки обожаемые театралов, надо испытать лагерную тоску, страшное, изнуряющее состояние, ни на минуту не отпускающее арестанта.

Все смотрят на далекие вершины гор и просто любят ими. А арестант неизбежно подумает о том, что там, вдали, нет конвоя. . . Даже у тех, кто и думать не думает о побеге, при виде не огражденного колючей проволокой пространства непременно вспыхнет мысль о том, что там, за невидимым или видимым районном лагерной территории, лежит другая земля, по которой передвигаются сообразно своим желанием, а не по принуждению. . . Но трудно объяснить это состояние, этот гнет неволи. Если кто-нибудь хочет его понять, единственный способ — это испытать самому.

Вот почему создается какое-то братство тех, кто сидел. Братство — неправильное определение. Ну какие мне братья — убийцы, грабители, а тем более враги моей страны, моего народа, я и там, находясь за решеткой, ненавидел их и, если не чурался, то как разведчик, изучая их. Но что-то, заставляющее переглянуться, остается в подсознании у тех, кто сидел. Ведь мы же навсегда, на всю жизнь становимся иными — «сидевшими».

И еще одно чисто психологическое мое наблюдение — о том, в чем корень отчуждения арестанта от «аппарата», не от всей массы людей, а именно от «аппарата» — огромной бездушной человеческой машины принуждения. Конвоиры, надзиратели, охрана, все перевозящие с места на место арестантов, следящие, чтобы не убежал арестованный, ведущие приговоренного на расстрел, стре-

ляющие в него — эти люди вызывали у меня некоторое презрение к породе человека, некоторый стыд за них. Я понимал, что всем им удобнее внушить себе, что они имеют дело с преступниками и только с преступниками, иначе они не могли бы ни конвоировать, ни расстреливать — ничего бы не могли. Но разве от этого они становились лучше? Я горько усмехался, когда меня прикладом поторапливал конвоир. Кто он такой? Полуграмотный парень, еще не успевший ни о чем в жизни задуматься, что-нибудь понять, что-нибудь осознать, осмыслить. Но эта заготовка человека, а еще не человек идет с сознанием выполнения священного долга и ведет меня, патриота, схваченного врагами России и даже врагами человечества. . . Какой шарж! Какое позорное зрелище! И если бы я был единственным, если бы я был редким исключением! Нет, нас таких было много, так много, что и представить себе трудно!

Может быть, не невыносимо тяжелые работы, не полуголодное существование, не колючая проволока и круглые сутки наведенные на нас пулеметы на дежурных вышках, а вот эта раздвоенность сознания — самое страшное, что испытывали люди в нашей стране. Но что еще ужаснее: это испытание осталось и после того, как XX съезд партии вызволил нас из лагерей. . .

Но об этом — в свое время. А пока что я стоял со скребком в руках и вдыхал приносимые ветром упоительные запахи дикого камня, лиственниц, снега и погруженной в зимнюю спячку земли.

И тут я сам себя поймал на шальных, бессмысленных и, я бы сказал, озорных моих поглядываниях на далекие утесы. Куда там мне! Но инстинкт есть инстинкт: не я, а мое существо явно подумывало о побеге — дескать, как махнуть прыжками, прыжками. . . перепрыгнуть через речушку, что поблескивает вдали льдом. . . и скрыться в огромном темном лесу с пятидесятиметровыми уходящими ввысь лиственницами, которые я видел впервые в жизни. . .

Вот мой Кудряш объявил перекур. Все немедленно перестали действовать лопатами, замахиваться кайлом. Кто сел на приступочку полуистлевшего фундамента, кто лег прямо на землю, на снег, и блаженно вытянулся. А Кудряш подошел ко мне (я тоже немного поработал со всеми: неудобно было бездельничать), сел рядом и тихо заговорил:

— Мне актеры все про вас рассказали. Что вы писатель, что сидите неповинно. Наказывали беречь вас. Да я и сам разбираюсь, чать, в людях. Так что вы не бойтесь, вы у меня как за каменной стеной, и к вам теперь не подступишься. Работаете? Работаете. И бригадир отзывается о вас как о самомлучшем работяге. Все. Никто теперь не тронет вас. Ну, конечно, холодно, голодно. . . Но все, что могу, сделаю для вас. А вы что, в газете пишете или как? Книги пишете? Вон что. Каких людей хватают! И что — романы пишете? Тридцать книг написали? Да ну-у! Правду говорите? Да что это такое, в первый раз живого писателя вижу! Да идите хоть к костру, погрейтесь. Ребята! Ну-ка, расшевелите огонек, пошукайте корягу какую али что, дабы горело поярче, до самого неба.

Пока он командовал и следил, чтобы оживили костер, я решил воспользоваться «перекурком» и нарисовать общий вид гор и лесов, благо у меня в кармане и блокнот нашелся, и карандаш.

Увидев рисунок, Кудряш окончательно был сражен.

— Так вы и рисовать умеете? Черт-те што! Например, и меня можете изобразить?

— Отчего же! — храбро ответил я, хотя вообще-то редко делал портреты, разве что карикатуры на гимназических учителей.

— Миронов! — скомандовал Кудряш. — Орудуй тут за меня, мы тут сходим по одному дельцу.

И мы направились к стоявшему поблизости неказистому зданию, которого я раньше и не заметил, направляя взоры туда, в прекрасную даль. Не скажу, что это здание соответствовало окружающей красоте.

Оказывается, в этом доме наш бригадир был свой человек.

— Нина, — распорядился он, — чайку нам приготовь поживее.

Пока Нина, невзрачная, как и дом, где она обитала, занималась хозяйством, мы приступили к работе: Кудряш сел на стул, старался не моргать и делал серьезный вид, а я взялся за карандаш.

— Не надо хмуриться, — попросил я. — Лучше улыбнитесь.

Я работал со всем усердием и в то же время не спешил закончить портрет, чтобы выгадать еще на один сеанс. Но и первым наброском (по-моему, плохим) Кудряш был доволен:

— Смотри-ка ты! И пуговицы как у меня! Все правильно! Завтра кончите?

Но закончить портрет не пришлось. Начлага Белов, узнав, что Бородулин на свой страх и риск включил меня в строительную бригаду, дал ему нагоняй и приказал поставить меня работать в санчасть: ведь и в документах у меня указывалось — стараниями Ляшко, — что я фельдшер.

В санчасти я поселился вместе с доктором Манвеллом Хачатуровичем Мартиросяном, толстяком (это в лагере-то, где были случаи, что умирали с голода, от истощения, а главное, — от всеобщего, повального авитаминоза!) — таким толстяком, что даже обуться, шнурки на себе не мог сам завязать. Мы с Мартиросяном были дружны, посылки делили пополам. Доктор он был опытный, знающий, по специальности — хирург, причем страстный, влюбленный в свое дело. Я у него учился и быстро на практике освоил так называемую малую хирургию.

Увидев, что я вполне справляюсь один, Мартиросян стал часто уходить за зону «пользовать» начальство и там пропадал целые дни, а я делал все: взрезывал нарывы, делал перевязки и даже инъекции, обрабатывал раны (а на строительстве тоннеля у людей было много травм). Больные сидели в комнате рядом (собственно, прихожей) и входили поочередно.

Как-то перед началом приема доставал я из медицинского шкафа самые ходовые медикаменты, вату, бинты — и вдруг вваливаются трое здоровенных уголовников (их и после «чистки» лагеря было предостаточно), явно в подпитии, хотя спирт доста-



вать там было невероятно трудно. Двое отошли в сторонку, как резерв, третий приставил мне к сердцу нож и потребовал:

— Давай калики-моргалики! Живо!

Я сроду не потакал таким вымогателям, у меня даже кодеин или что-то с кодеином не выпросить. Но что пырнуть ножом — это у них плевое дело, а сроков им прибавлять некуда, и без того накопилось по ряду судимостей — это я знал великолепно. Вот и представьте мое положение. Их ведь трое... Просить-умолять? «Берите, что хотите, только меня не трогайте»? Но ведь я-то человек, хоть и зе-ка, у меня есть человеческое достоинство. Если ни тюрьма, ни лагерь не сломили меня, неужели я подчинюсь этим подонкам?

Думать было некогда, это сейчас я рассуждаю и прикидываю, а в тот миг на думанье не оставалось времени. Я когда-то дрессировал моего дога Чапа, причем по всем правилам, в Осовиахиме. И вот, ни о чем не думая, я скомандовал бандиту, как приказывал собаке:

— Сидеть!

И эта сволочь с ножом в руках сел на топчан, беспомощно моргая. А я был с голыми руками, правда, рядом лежали медицинские ножницы. Больше я на этого бандюгу с ножом даже не оглядывался. Прикрикнул на двух, стоявших в сторонке:

— А вы что смотрите? Убирайтесь вон и не мешайте мне работать!

Они что-то бунчали. Но ушли. Правда, попутно сперли у меня ножницы. А вскоре принесли — ко мне же — раненого. Они все-таки использовали нож, ткнули им кого-то, а он кричал: «Братцы! Не убивайте!» Это их еще больше воодушевило.

Раненого я отправил в госпиталь. Оказывается, в сердце они не попали, и этот человек выздоровел. Что было с бандитами, — не знаю и не интересовался. Куда-то их увезли.

Я еще расскажу о моей работе фельдшером, о моем коллеге Саше Васильеве, врожденном жулике и проходимце, о том, как под моим руководством на этом лагпункте был построен театр, и еще о многих событиях и многих злоключениях зе-ка Четверикова. Но сейчас вспомнил о Васе-Петушке и о Коломбине. Столько прошло лет, а эти истории не выходят у меня из головы. Пусть же сохранятся мои рассказы, если, конечно, сохранится и самая тетрадь, «синяя тетрадь», как я ее называю. Ведь достаточно одного движения, чтобы швырнуть эту тетрадь в печку, или даже не в печку, а в мусорную корзину. Но — Jedem das seine, как было написано над входом в Освенцим. И ведь как нагадали: одних людей загоняли в газовые камеры, а тех, кто загонял, тех повесили, — каждому свое.

Однако довольно предисловий, перехожу к рассказам.

Сначала — о Васе.

В лагере были разнообразнейшие люди. Много уголовников — бандюг, воров, жуликов. Много «бытовых». Была проститутка Лида Конь-Голова, о которой я рассказывал. И был некий Вася.

Дурачок. Он не единственный в своем роде, таких можно было повстречать в лагерях. Один, помню, все пел. Другой помешан был на эротической, в смеси с религиозной, почве. Васю-дурачка и на работы не посылали, он слонялся без дела, и, когда кто-нибудь из надзирателей просил: «Вася, покуракай!» — Вася хлопал себя руками, строил глупейшую рожу и вопил к общему восторгу свое «ку-ка-ре-ку». Этот незамысловатый номер он мог повторять много раз на потеху заключенных и на радость конвоиров. Этим и кончались служебные обязанности Васи.

Не помню, за что он сидел, но срок у него был минимальный, три года. И вот пришел и прошел наконец этот третий Васин год. В лагере просто: кончился срок — оформляй документы, получай из каптерки личные вещи, бери на руки справку и шагай через вахту и дальше, куда тебе угодно. Выдали Васе вещи и справку, и направился он к вахте.

Солдаты на вахте, жалея, что расстанутся с дурачком, который их всегда так смешил, крикнули ему:

— Вася! На прощанье-то покуракай!

— Сами кукуракайте! — обернулся он.

Сказал это со злостью, со злорадством, а солдаты так и опешили. Оказывается, все три года он морочил всем голову и притворялся дурачком, чтобы не посылали на работу!

Рассказ о Коломбине будет несколько подлиннее.

Наш лагпункт 01-Тоннельный располагался в глуши тайги, на восточном въезде в сооружаемый нами тоннель, примерно в 40—50 километрах от нового города Ургала, — там, где виднелся Дуссе-Алиньский перевал. А по другую сторону тоннеля находилась большая женская колония. Мы туда приезжали один раз с концертом, и я видел этих девчонок, томящихся в неволе. К нашему приезду они приготовили во всех укромных уголках и на чердаке барака многочисленные брачные постели (хотел сказать по-другому, да сочетание «брачное ложе» не имеет, кажется, множественного числа).

Работали женщины, говорят, лучше мужчин. И управляла всем лагерем Коломбина — профессиональная воровка, я ее видел, пожилая женщина, она была для всех и матерью, и няней, и доброй советчицей, и благожелательным судьей. Широко, по всем лагерям Сибири было известно, что есть такая Коломбина, и все уважали ее.

В женском лагере — стараниями той же Коломбины — была образцовая чистота. Там и тут виделась забота приукрасить свое жилье: где картинка к стене прибита, где в летнее время полевой цветок стоит в стеклянной банке, какие бывают для фруктовых консервов. Коломбина ввела еще правило: на работу одеваться по-рабочему, специально для этого держали особые куртки, сапоги, рукавицы, даже косынки и шапки попроще, а возвратясь с работы — чумазые, запыленные, — все мылись, расчесывали волосы, прихорашивались и надевали что-нибудь понаряднее, девчонкам ведь все к лицу.

Возможно, что Коломбина и придумала устроить женский бунт. А может быть, не она, но руководство было Коломбининым, это без сомнения, она во всех делах была зачинщица и заправила.

В этот день постучал дежурный надзиратель в рельсу, но никто не вышел. Что такое? Пошли в барак, а они забаррикадированы.

— Девочки, чего вы? — кричат через двери надзиратели. — Не слышите разве, что в рельсу позвенели?

А задорные девчачьи голоса отвечают:

— Давайте нам мужиков, тогда будем работать!

— Откуда же мы возьмем мужиков?

— Тогда сами... — в лагере вообще все называлось своими именами.

Надзиратели растерялись, доложили начальнику лагпункта, позвонили в Управление, в Ургал. А девчонки не придумали, что им дальше делать, в сущности, эта затея была скорее озорством, чем серьезным делом.

Вскоре, через какой-нибудь час, все пошли работать. Но в Управлении все приняли всерьез, как ЧП. Пулеметов для усмирения бунта не направили, но сами прикатили моментально. Вызывали для расследования дела одну бригадишу, другую. По обыкновению той эпохи, матюгались, орали, доводили женщин до слез и грозились, что в наказание лишат весь лагерь питания на несколько дней.

Об этой угрозе прошел слух по всем лагерям, и на мужских лагпунктах провели сбор продуктов: кто ломоть хлеба, кто из посылок от родни — пряников, печенья. Два надзирателя получили каждый по 10 рублей и согласились отнести мешки с дарами на женский лагпункт.

Нашелся в Управлении благоразумный человек, который высмеял грозившего голодным наказанием. И все как будто затихло. Но лагерное руководство затаило зло на Коломбину, считая ее организатором бунта. Когда стали уже забывать об этом курьезном, но, я бы сказал, и трагическом вопле женщин, — примчалось трое при оружии и в сопровождении арестантского фургона. Проследовали в лагпункт, подошли к Коломбине и грозно приказали:

— С вещами. И без проволочек. Задержку будем считать неповиновением и применим оружие.

— Герои! — презрительно сказала Коломбина.

Ей не дали даже проститься с подругами, с девчонками, затолкали в фургон, и сами двинулись следом в легковой. Вслед им из лагеря неслись проклятия и виртуозная брань.

Коломбину привезли на вокзальную площадь Ургала. Под предлогом шмона раздели голый, не обращая внимания на мороз. Коломбина стояла гордая, не шевельнулась. Офицеры отпускали остроты. Но даже тюремные солдаты не только не гоготали, но были неподвижны и смотрели осуждающе.

Затем Коломбину отправили в вагон-теплушку вместе с подоспевшим этапом, доставленным из тюрьмы. Тут же околачивалась вертлявая девчонка, улыбающаяся тюремщикам. Ей и было пору-

чено в пути убить Коломбину, и даже выдан нож. Задание она выполнила блестяще: ночью, когда все спали, всадила этот нож в самое сердце Коломбины.

Так не стало знаменитости среди воровок и бытовых арестанток, то есть кассирш, у которых обнаружилась нехватка, и работниц, опоздавших на службу хотя бы на десять минут.

Вот записал все это — и как будто старый должок выплатил, хорошо стало на душе.

А теперь хочу составить нечто вроде таблички — с перечислением по порядку, где и где я был за время с 12 апреля 1945 года по 6 апреля 1956-го, в каких тюрьмах и лагерях.

Апрель—декабрь 1945 — Шпалерная тюрьма.

Январь—август 1946 — Кресты.

Август—сентябрь 1946 — ехал в тюремном эшелоне до станции Известковая, а затем до лагпункта на ж. д. линии Известковая—Ургал.

Октябрь—ноябрь 1946 — на этом лагпункте.

Декабрь 1946—декабрь 1947 — ЦРМ. Ляшко. Исаакян.

Январь 1948—февраль 1949 — Тоннельная, лагпункт 01.

Февраль—июнь 1949 — на пересылке. Приписал к штрафникам нарядчик Бородулин. Но полковник Белов обо мне позаботился.

Июнь 1949—август 1950 — снова на Тоннельной.

Август—ноябрь 1950 — на лагпункте в Ургале.

Ноябрь 1950—декабрь 1951 — лагпункт на ж. д. Ургал—Известковая. Толик. Сторублевка, сделанная моими карандашами. «Колдун» Кузьма Иванович, от него я перенял некоторые приемы лечения.

Декабрь 1951 — внезапно переводят на пересылку в Ургал и в столыпинском вагоне везут к западу. В Иркутске сдают в Александровский централ. Всю дорогу не давали пить и не пускали в уборную, так ехали сутки. А кормили соленой-пересоленной рыбой. Нечто аналогичное рассказывал мне в 60-е годы Леонид Николаевич Розанов, тоже отсидевший что-то такое около года. Им тоже весь путь не давали воды. Когда они попали в Омске в баню, завшивевшие и измученные, они бросились к шайкам и пили, пили, никак не могли напиться. Еще профессор Розанов рассказывал о некоем партийце, который сам на себя донес. Наговорил лишнего, возвращаясь с какого-то собрания вдвоем с секретарем. Перетрусил, что тот «настучит», и решил сам все рассказать органам безопасности. Там прочли — и посадили его.

Январь 1952 — пересылка Тайшета. Курзанов Николай Николаевич. Куда он исчез? Наверное, в тюрьме погиб. А какой человек!

Сентябрь 1952 — лагпункт 058 (начальник лагеря — Тарасюк).

Начало 1953 — перевели на лагпункт 05. Дмитревский.

В 1955 году, в апреле, кончился мой срок, но меня держали еще месяца два, не зная, куда девать. Затем без конвоя, но все же в сопровождении надзирателя проводили в Тайшет... и куда

же? — не догадаться: в тюрьму, причем кошмарную. Я очутился в обществе подозрительных парней — явно из блатного мира. Однако все обошлось, они меня не трогали, и я их не трогал. Месяца через два меня увели, привели в какое-то учреждение, где мне некий довольно неприятный дядя объявил, что я могу жить в Тайшете. Уход далее таких-то и таких-то пунктов считается побегом. Названий этих пунктов я никогда не слышал и, конечно, не запомнил. Поместили меня и еще нескольких зе-ка — видимо, в таком же, как я, положении — в полуразрушенном здании за городом. Здесь, говорят, была военная секретная точка, она переселилась и оставила свои постройки без призора. Я бродил вокруг этих развалин, все-таки лес, и я даже нашел кустик малины.

А вскоре мне предложили «место» ночного сторожа на заводе в километре-двух от Тайшета. Дали винтовку. Я сидел ночи и мерз на огромном пустыре, сплошь загроможденном какими-то ломаными машинами, в том числе и авто. Я иногда грелся внутри таких авто. Сторожить здесь явно было бессмысленно, а если бы кто задумал что-то ограбить, то убить меня при всем моем вооружении — ничего не стоило.

К весне меня перевели на должность садовника. На территории завода, оказывается, было большое хозяйство — с парниками, грядами и избушкой, где можно было спать. Заводские служащие приходили покупать овощи, платили мне по ценам, которые они знали, а я не знал. Я честно все до копейки отдавал второму садовнику. Он брал, но по его лицу я читал: «Ох ты и дурачина!»

Был у завода, оказывается, и клуб. Завклубом окончательно спился, и я получил его место. Выше этой ступени в иерархической лестнице я не пошел. А в свободное время рисовал. За картину (метр на полтора) давали сто рублей. Лучше всего шли натюрморты — сирень, ромашки, клубника.

Но вот что я вскоре понял: я ссыльный, со мной все любезны, вежливы, но в дом не зовут, не принято заводить близкое знакомство со ссыльным. Нашлась, однако, одна семья — Хлебниковы: Тамара Федоровна, ее муж Саша, оба молодые, оба работают на заводе, живут бедно, но весело и дружно, у них дочка Светлана, — они не боялись, приглашали меня к себе, угощали, у них я согревался душой в домашней обстановке. Светлана устраивала нам спектакли с одним действующим лицом. У Тамары было выходное платье — лиловое, бархатное, когда-то нарядное, а теперь здорово поношенное. В нем Тамара приходила на танцы в клуб. Хорошие люди. Они потом переехали в Братск. Со временем у нас переписка заглохла, а нехорошо, надо написать им, узнать, все ли у них в порядке, послать мои книги.

Оркестром на танцах дирижировал Яков Яковлевич Черников — из бурят или чукчей. Он долго жил за границей, в частности — в Китае, а вернулся — его посадили, хотя он и за рубежом жил по советскому паспорту и выполнял значительную работу. Например, на его имя были положены в банке огромные суммы,

и его считали миллионером, а на самом деле он жил скромно, а миллионы предназначались для революционной подпольной работы, для пропаганды. Черников — очень интересный человек, музыкант, всю жизнь играл в оркестре, его инструмент — тромбон. А жена его — портниха, заурядная тетя, но с претензиями. Незаурядно, однако, то, что она приехала к Якову Яковлевичу в Сибирь и жила там около него, а потом вместе с ним, когда он стал уже поселенцем, а не арестантом.

Впоследствии Черниковы поселились в Томске, и при встрече они показались мне очень смешными: и Мария Павловна, усердно разыгрывающая из себя «даму», и Яков Яковлевич — маленький, щуплый, прямо какой-то кукольный человечек, соблюдающий светский этикет и всякие «цирлихи-манирлихи» и «китайские церемонии» (уж вот где подходит-то это выражение!). Он галантен, деликатен, но все его манеры и замашки какие-то «не наши», ненатуральные, театральные. И все, что на нем надето: галстук бантиком, лакированные штиблеты, манишки — все это еще оттуда, из-за рубежа, из Австралии, из Китая. И не только галстуки и манжеты, но и все привычки, помыслы, представления, оценка всяких бытовых мелочей — все это «заграничное», смешное для нас, советских людей, хотя по политическим взглядам он вполне и безоговорочно советский человек и за границей выполнял весьма серьезные поручения советского консульства.

Некоторую карикатурность Якова Яковлевича я разглядел уже позже, в 1961 году, когда он с женой приезжал ко мне и я поразился, насколько же он весь, насквозь пропитался заграничным духом. Фактически он как бы продолжал жить там, за рубежом, и сейчас, вернувшись на родину. Даже путался иногда и говорил:

— У НАС строят дома так, что все окна на юг. . . — и, заметив наши с Наташей удивленные и, может быть, насмешливые взгляды, поправлялся: — То есть не у нас, я неправильно выразился, я хотел сказать, что там, в тех странах, строят по-другому. . .

Это было в нем уже невытравимо. Он мог часами рассказывать о тамошних гостиницах, ресторанах, спальнях, кухнях, ваннах. . . о лифтах и трапезах. . . и особенно — о женщинах, о нравах «того мира».

А музыкант он был отличный. Великолепный музыкант. Знающий теорию, понимающий и глубоко чувствующий музыку. Настоящий профессионал в своем деле. Для Тайшетского клуба он был просто находкой, кладом. И мы там очень дружили.

В апреле 1956 года я был освобожден враз по двум линиям: по одной — с минус II, по второй — безоговорочно, вчистую. К освобождению я накопил благодаря рисованию тысячу рублей, она хранилась у Черникова. А уезжая из Тайшета, я оставил ему несколько своих картин. Он потом их продал клубу за 300 рублей и прислал мне эти деньги.

Во всех подробностях помню, как 6-го апреля 1956 года я приехал в Ленинград из своей одиннадцатилетней «командировки». Кобра и ее племянница Ирина Самойлова доставили меня к себе

на Кировский проспект в такси и всю дорогу досадовали, что «Зим» попался старый, полинялый. По приезде — «вспрыскивали» встречу. Я оглянуться не успел, как они выхлебали поллитровку.

— Ах да, ведь он не пьет водки! — воскликнула Ирина и мигом сбегала за виноградным вином, которое они же и прикончили, так как я вообще выпил две рюмки.

Начались приемы...

Явился Полицеймако со своей Фиш. Намекал мне, что вот я начну получать гонорары и тогда дам ему малую толику... Полицеймако всегда приходил с «маленькой», то есть с четвертьлитровой бутылочкой водки. А тут Кобра уже готовляла литра два водки и закуски — «какие любит Виталий Павлович». Они быстро напивались пьяными, и Полицеймако нес околесницу, что означало, что он «произносит тосты». В наборе слов можно было уловить, что он поднимает рюмку за «замечательнейшую», за «чудеснейшую» и так далее — в общем, за Кобру.

Отдельно были приглашены Груздевы. Еще — какой-то зубной врач, спекулирующий легковыми машинами. И еще приходил кто-то. Унылый Авербах... Гитарист Сергей Сорокин, укравший у меня часы... Девки какие-то... Вертелся тут же любовник Ирины — некий Володя — из пригородного семейства, торгующего ягодами и редиской... За столом рассказывали антисоветские анекдоты, хвастали тем, как обделяют делишки, перепродавая «победы» и «москвичи»... Подвыпив, Кобра, Ирина, «Машка» (бывший комендант дома № 9 по каналу Грибоедова) и еще одна Ирина, морфинистка, — Буркова — шли к роялю. С изумлением я услышал тот же репертуар, что и одиннадцать лет назад:

С кем вы? Знаем!

Где вы? Знаем!

Отвратительное впечатление осталось у меня от всей этой своры!

Первое время я, не вылезая, сидел дома. Я боялся улицы, города, людей. Однажды решил сходить в продуктовый магазин наискосок от дома. Был поражен, как много масла, сыра, сахара, конфет, печенья, колбас — бери сколько хочешь! Я уже успел забыть, что бывают такие магазины. Я изумлялся всему: и что столько народу на улицах, и что есть специальная «бубличная», где продают только бублики...

Я привез с собой тысячу. Кроме того, получил в Литфонде пособие — сначала три, потом еще пять тысяч. (От бесплатной литфондовской путевки пришлось отказаться, так как Кобра сказала: «А на дорогу где взять деньги? Работать надо, а не по курортам ездить!») А работать было невозможно: даже письменного стола нет (вернее, стол есть, но он в распоряжении десятилетнего сына Ирины, Илюши). А главное, — атмосфера неподходящая: шум, гвалт, бесконечные попойки и поездки в Кирилловское — на дачу к пьянице и склочнице Груздихе, приятельнице Кобры, где то же самое — водка, сплетни-пересуды и азартная картежная игра...

Очень быстро, месяца через два-три, деньги кончились, и тогда мне предложили «занять» тысячу у любовника Ирины. Я «занял» и отдал из рук в руки и эти деньги. А Кобра совсем переселилась в Кирилловское. . .

Вот из какого ада вырвала меня Наташа.

Раздумывая сейчас над всей этой историей, я нахожу очень печальным все происшедшее. Ну представьте эту картину. Жил я, работал дни и ночи, сорок лет стажа, более тридцати книг издал. . . У меня отдельная квартира из трех комнат, в моем кабинете по стенам — книги до потолка, слева рояль, справа кушетка, книжный шкаф, в глубине комнаты в правом углу письменный стол и кресло. . . Заведомо неповинного ни в чем человека садят в тюрьму, пытаются, мучают и заочно, в «особом совещании» присуждают 10 лет лагерей. . . Я очутился в Сибири. Квартиру мою заменили тем временем одной комнатой. Всем имуществом завладела моя «супруга». Когда я вернулся — ни одной вещи, находившейся в моем кабинете, не было, все размотано, даже мои собственные, мною написанные книги, которые я потом собирал по крохам. А сколько книг было с автографами друзей! Сколько вообще раритетов! Очевидно, курс был на то, что я не вернусь. Фактически я был обобран моей «супругой» начисто и оказался на улице — гол как сокол. Я попросил отдать мне мои портреты (среди них были маслом написанные работы Борисоглебского, Бурлюка) — она сказала, что сожгла их. Ну разве не гадина? Не Кобра? А я даже из ссылки отправлял ей денежные переводы!

Получив жилье в Карташевке, в пустой даче Литфонда, я спал на грязных казенных матрацах, своего у меня ничего не было. И все это считалось вполне естественным. Кто из писательской братии протянул мне руку, поддержал меня, защитил? Защитила и поддержала Наташа. Это было моим спасением. Я стал постепенно оттаивать. А когда стряхнул наконец путы, которыми, как паутиной, оплела меня Кобра-Самоквасова, когда вычеркнул из своей жизни эту несчастную связь, то и вовсе поздоровел и окреп. Но и тут с меня целый год после развода брали в ее пользу по 400 рублей в месяц, невзирая на то что я пенсионер, что 11 лет пробыв в лагерях. Когда она умерла в январе 1975 года, у меня было такое ощущение, что где-то, хотя и в отдалении, но все же существовала, ползала змея, ядовитая и опасная, и вот — пришло избавление.

Долго после разрыва с этой бессовестной особой я не мог прийти в себя. Наташа меня выходила. И Наташа показала мне на практике, что только тогда человек находит полное удовлетворение, полное счастье, когда встречается жондину-друга, женщину, близкую не только физически, но и духовно.

Перелистывая сейчас свои дневники, я нашел там за 1 августа 1961 года свое письмо Наташе — не на отдельных листках, а прямо в тетради, как очередную запись среди всех других записей. Хочу привести его полностью, потому что и ныне, почти через двадцать лет, готов подписаться под каждым его словом:



«Милая Наташа! Какое огромное счастье пришло с тобой в мою жизнь! Ведь бывает же так: прожить шестьдесят лет — и только тогда встретить существо, какое ждал и искал неустанно. Все в тебе, родная моя, гармонично, красиво, созвучно. Ты и сама не знаешь, какая ты хорошая. Но, кажется, нет никого, кто, встретясь с тобой, не преисполнился к тебе горячей симпатией. Даже продавцы в магазинах. Даже мрачные совслужащие в учреждениях. А уж я-то, я-то души в тебе не чаю. И какая безоблачная жизнь у нас с тобой, как все у нас ладится, как мы понимаем друг друга с полуслова, с намека. У нас все пополам, все вместе. Вместе работаем, вместе решаем все вопросы. Я люблю тебя и вижу, как ты расцветаешь, переливаешься всеми оттенками счастья, а уж твоя любовь ко мне — просто безмерна, твоя нежность, восторженность, забота, ласка — неистощимы. Нам очень хорошо. Мы дружны и едины. Я в твоём сердце, ты в моём сердце, и как это воодушевляет, какие даёт силы, какие творческие замыслы переполняют меня, как я становлюсь зоркой, и какая работоспособность, — и все ты.

Кто ещё может так оберегать мой покой, окружать заботами, стараться перегрузить все тяжести на свои плечи? Вчера речь зашла о том, чтобы поехать осмотреть Литераторские мостки на Волковом кладбище. Я довольно неосторожно и бестактно заявил, что мне не очень хочется туда ходить, потому что рано или поздно, а придется мне очутиться там. У тебя слезы выступили на глазах. Я так раскаивался, что затронул эту тему. Но ведь и отмахиваться от этого нельзя. И я хочу сказать тебе, Наташа, что, во-первых, я пока что не собираюсь умирать и даже рассчитываю оба десятилетия, намечаемые сегодня в программе Коммунистической партии Советского союза для построения коммунизма, благополучно здравствовать и неустанно трудиться на благо родины. Но все-таки надо же понимать, что ты моложе меня почти на тридцать лет. Значит, придет время, когда на тебя будет возложено — привести в порядок литературное наследство, зорко следить, чтобы не нахалтурили, не напартачили, чтобы было издано полное собрание моих сочинений, были изданы и переписка, и воспоминания, и дневники. Ведь это должно быть сохранено и передано людям. Кто же может все это сделать лучше, чем ты? И я, задумываясь о будущем, всегда с ясным взглядом, с гордостью и радостью надеюсь на тебя, моя Наташа. Я отлично понимаю, что забота об увековечении моих трудов, помыслов, творений в надежных руках.

Но это все — перспективный взгляд. А сейчас, Наташа, мы живем в полную меру, мы счастливы, и я очень люблю тебя».

Да. Не знаю, как сейчас, хорошо ли ей живется, а я лучше никогда не жил и даже не мечтал жить. Идеальная у нас, по моему, семья.

Что же касается страны, то трудное время мы переживаем. Не везло нам после Ленина с «правителями» (только Хрущева не могу поминать лихом: какой бы он ни был, а ему я — и не один я! — обязан жизнью). И все-таки я неисправимый оптимист и не

изверился окончательно. Живу надеждой, что преодолеем мы затяжной кризис, сломаем порочную систему в стране и спасем нашу Родину — в который раз! — от напасти, как спасли от кровавого Батя, заносчивого Наполеона, «шалуна» Карла XII и людоеда Гитлера. Есть, есть среди нас уцелевшие от всех мясорубок крепыши, есть и здоровая молодая поросль, новая крепкая порода, — не может быть, чтобы не было силы справиться с болезнью. Ох, не затягивать бы с операцией, пока не дошло до метастазов!

Я в жизни так много видел плохого, а все не устану никак верить в хорошее, все надеюсь: ловит волк, но ловят и волка. Но если мы что-то можем, то зачем бы откладывать? Ведь жалко же: крошат и крошат людей — не физически, так духовно калечат. А мы все смотрим да смотрим. А мне до того хочется, чтобы что-то было сделано еще при моей жизни, хотя нельзя забывать, что я уже не свеча, а огарок. Ну, что ж, всего все равно не увидишь. Но идеи-то не расстрелять и не пырнуть ножом. Книги-то на каком костре спалите? Смотрите, сами попадете растопкой на костер истории.

Сейчас, отложив в сторону тетрадь, глубоко задумался. Сколько пройдено, сколько пережито! Как-то в кругу моих знакомых мы занялись статистикой. Оказалось, — подумать только! — я жил при девяти властях, печатался в восемнадцати издательствах и в тридцати трех журналах, сменил в жизни двадцать одну профессию. Дважды меня водили на расстрел. Три раза мне пришлось завести библиотеку, пианино и обстановку — вообще начинать жизнь заново, так сказать, с нуля. Казалось бы, вполне достаточно познакомиться с одной тюрьмой, а я ухитрился побывать в четырех. А женитьбы? За свою жизнь я был пять раз женат. Правда, из них только два официально зарегистрированных брака (и один церковный), но все же... Все же это необычно: пять жен! И вовсе не потому, что я по натуре какой-то Дон Жуан или Казанова, так уж сложилась жизнь.

За восемь десятков лет человек вообще успеваеt кое-чего испытать, а мне к тому же помогали природное любопытство и настырность профессиональная способность видеть насквозь каждого встречного-поперечного, видеть, как трава растет. Но надо сказать, что мне еще и чертовски везло: я постоянно попадал в самую что ни на есть крутоверть. Почему бы, например, мне не податься по окончании Уфимской гимназии в Петербургский или Московский университет? Так нет, меня понесла нелегкая в Томск, вследствие чего я сначала очутился в обстановке учредительской неразберихи, а затем влез с головой в колчаковскую вистопляску. Или: почему бы мне не отказаться от поездки в Богдановку на выручку моей любезной «гимназической жены» Шуры Александровны, когда она фактически уже не являлась моей женой? Не знаю, кто бы на моем месте согласился спасти эту более чем странную особу, тем более — когда! — в 1920 году, в самый разгар махновщины, батьковщины и бандитизма на Украине. А я поехал.

Мне кажется, мной руководила своеобразная, чисто интеллигентская месть, когда я отправился в это рискованное путешествие, едва не стоившее мне жизни. Дорогой я подхватил тиф, а когда каким-то чудом выжил после него, то должен был без денег, без документов и без сил найти какой-то выход из моего трудного положения. И нашел. Помогло никогда не покидающее меня чувство юмора (разве не смешно — оказаться в положении «брата своей жены?»), помогли «запасные профессии», в частности, — умение рисовать (это было моим подспорьем и в лагере), знание земледельческих работ. А в результате — новые впечатления, новый жизненный опыт и новые материалы для будущих книг.

И так везде и во всем. Когда Ленинград переживал неслыханно тяжелую полосу блокады и голодного пайка, я, конечно, был там, испытал обстрелы и бомбежку, дистрофию и ооченение от холода, напряженный труд в условиях блокадного города и дыхание смерти, унесшей жизни моего отца, брата и многих-многих друзей. А когда был период незаконных репрессий в страшные годы разгула самовластья, и эта чаша не миновала меня.

А мой вывод из всего пережитого таков: чингисхановские повадки, установки на уничтожение, истребление, испепеление дают обратный эффект. Возникает в народной душе облик Георгия Победоносца — символ возмездия, попраiania злобного чудовища, кровожадного змия, многоголовой гидры. Это то неистребимое, величавое, грозное, о чем следовало бы помнить всем чингисханам прошлого и грядущего. И я верю, что основной миф русского христианства — сошествие на землю, мучения, смерть и воскресение в третий день по писанию — это тоже символ, это исторический путь русского народа. Третий день настанет, я уверен, и народ наш воскреснет!

Вот и кончается первая синяя тетрадь. А сколько бы надо записать... и даже без уверенности, что эти тетради сохранятся, достигнут тех людей, для которых я пишу все это, — для борцов всех рангов и положений, кто любит Россию и готов отдать жизнь за ее счастье. Редко что сохраняется во времени, разве что каменные изваяния да кладбищенские памятники. Да и те исчезают, стираются в пыль. Помню, видел я в Вологде огромную площадь, занятую ГПУ, это было в 1931 году. От здания к зданию соорудили удобные дорожки — из чего бы вы думали? — из надгробных плит. Идешь по такому тротуару и читаешь надписи: «Здесь покойтся прах...»

Мне трудно сейчас писать, правая рука плохо действует, писать больно, и почерк никудышный. А писать надо, и надо торопиться, жить осталось мало.

1979—1980 гг.

## СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

---

\* \* \*

Есть прокаженные слова.  
О них идет худая слава.  
Они — позор. Они — отрава.  
О них не умолчит молва.  
В них преступлений длинный свиток.  
В них скорбь народа разлита.  
В них запах крови, корчи пыток.  
В них хруст костей и свист кнута.  
«Тюрьма». «Расстрел». «Отнять права».  
«Сослать». «Повесить». «Заточенье».  
«Пожизненное заключение».  
Есть прокаженные слова!

Будь проклят тот захватчик власти,  
Тот коронованный злодей,  
Кто не заботится о счастье,  
О благоденствии людей,  
Кого несколько не тревожит  
Ни гибель преданных солдат,  
Ни то, что без вины, быть может,  
По тюрьмам узники сидят,  
Ни то, что тягостно живется  
В краю постылом, по родном,  
Кто незаслуженно зовется  
Избранником и пестуном!  
Злодейство тем-то и опасно,  
Что злом бахвалится злодей  
И уживается прекрасно  
Палач с профессией своей.  
А властелину даже мнится,  
Что, превратив страну в тюрьму,  
Он стал бессмертен посему,  
Потомство может не скупиться,  
Воздвигнуть памятник ему.

Льстецы, пройдохи, подхалимы  
Всегда к властям подход найдут.  
Они обласканы, любимы,  
Им только свистни — тут как тут.  
Они на цыпочках с утра  
Бегут к прихожей властелина  
И легким росчерком пера  
Возводят в гении кретина —  
Что-что, но вот уж мастера  
До хрипоты кричать «ура»,  
Целуя кисти палантина.  
Ничтожество великолепно!  
Разбить готово о пол лоб,  
Поддакивая раболепно.  
Глядишь — и он не без презента,  
Грудь в орденах... А землероб,  
Простой мужик — должник по гроб.  
К чему ему образование?  
К чему ему чины и званья?  
Он грузчик, возчик, он солдат,  
Ведь так уж повелось, что Вани  
На козлах кучерских сидят.  
Народу вдалбливали сроду,  
Из века в век и год от году:  
Терпи безропотно, молчи,  
Охота или неохота —  
Работай до седьмого пота  
И лопай скудные харчи.  
Но час придет. Всему есть сроки.

Не удержать приход весны.  
Всей предыстории уроки  
Когда-то будут учтены,  
Разогнаны все лжепророки  
И все запруды сметены.

*1949—1950*

\* \* \*

Живу давно. За годы эти  
Не вспомню, оглядясь вокруг,  
Что восхитительней на свете  
Уверенного слова ДРУГ?  
Я научился, глядя в вечность  
И отступаясь в пустоту,  
Ценить простую человечность  
И человеческую простоту.

*1968*

## МОЯ СУДЬБА

Я непоседливый, отчаянный,  
Беспечный парень заводной.  
Как бриг, от берега отчаленный,  
Кружил я птицей над волной.  
По шумным городам и селам  
Бросал меня военный шквал.  
И где я только не бывал  
С моим характером веселым!

Весь мир пылал. Металл и пламя  
Искали жертвы между нами.  
С земли сметались города.  
Кровавый бред... Разрывы... Стоны...  
И счет пошел на миллионы.  
Горели небо и вода.

Прошла война. На пепелище  
Мои сородичи пришли.  
Еще наряднее и чище  
Казался им простор земли.  
Где я был? Новых испытаний,  
Тюремной плесени, скитаний  
Познал я горечь, Но светла  
Душа по-прежнему была.  
Хотелось в правду верить страстно.  
Ведь жизнь по-прежнему прекрасна,  
Ведь молодость моя со мной,  
И я такой же озорной!

1969

## ПЕРЕД КАРТИНОЙ РУБЛЁВА

Когда смертельный вихрь проносится,  
Дракон разинул пасть зело, —  
Георгия Победоносца  
Народ отыщет и допросится,  
Взмахнет Георгий на седло  
И в пух и прах развеет зло.

Я, не колеблясь, твердо верю:  
Спасет Отечество мое,  
Вонзивши в пасть любому зверю,  
Победоносное копьё.

Немало в жизни я видал,  
И холодал, и голодал,  
Войну, блокаду испытал,  
Тюрьму и ссылку знаю малость, —  
Наверно, кто наколдовал,  
Что голова цела осталась.  
Исколесил я вдоль и вширь  
И Юг, и Север, и Сибирь,  
Тоннель долбил в краю морозном,  
Лежал в избе в бреду тифозном,  
На нарах спал и пил чифирь,  
Шагал с этапом по сугробам,  
Был лесорубом, землеробом,  
Слышал, как дяк читал над гробом  
Невнятным голосом псалтырь...  
Так как же мне не знать людей,  
Их скорби, чаяний, запросов?  
Заглянешь в душу — Берендей,  
Прислушаешься — чародей,  
И что ни человек — философ.  
Их помыслы не о себе —



За судьбы Родины болеют.  
Понадобится, так сумеют  
Вражину одолеть в борьбе.

Я в ту минувшую войну  
Был в истребительном отряде.  
Я и сегодня не взгляну  
На возраст свой — чего бы ради!  
И если уж на то пошло,  
Мы все как есть — чертям на зло —  
Георгии Победоносцы!  
Мы ратники, оруженосцы!  
Нам только объясни толково —  
Взмахнуть готовы на седло,  
Пойти на поле Куликово,  
В войска Дмитрия Донского  
И в пух и прах развеять зло.

Перед картиною Рублёва  
Я очарованный стою.  
Душа трепещет. Но ни слова.  
Георгий поучает снова .  
Быть мудро-царственным в бою.  
И как дракон ни размалеван,  
Повергнут будет и оплеван,  
Получит долю он свою.

1970

## УРОКИ ИСТОРИИ

Упорно сегодняшним днем называю  
Всё то, что о племени русском я знаю.  
Всего не учтя, не сумею решить,  
Что делать, как верить, как думать, как жить.  
Хотите понять правоту этой веры?  
На выбор возьмите любые примеры.  
Боюсь, не труды бы трудяги Петра —  
Мы стали б давно уж «забытым вчера».  
Не выиграй боя на льду на Чудском —  
Боюсь, нас тевтон бы сглотал целиком.  
Иль, скажем, Димитрий Иваныч Донской.  
Ужли устарелый? Забытый такой?  
Он нынешней нынешних многих, клянусь!  
Сумейте-ка крепче любить нашу Русь!  
За что его ценим? Сыскал он друзей,  
Единства достиг среди русских князей.  
А как без единства? Смекни, понимай.  
Нам, русским, единства вот так не хватало.  
Был злобен Мамай. Был опасен Мамай.  
Гуртом навалились — Мамай не стало.  
Куда же он сгинул? Он в Каффу бежал.  
А в Каффе точили для хана кинжал.  
Как всё современно! Без споров, без штрафа  
Гоните Мамаев! И в Каффу их, в Каффу!

Упорно сегодняшним днем называю  
Всё то, что о племени русском я знаю.  
Всего не учтя, не сумею решить,  
Что делать, как верить, как думать, как жить.

1971

\* \* \*

Смешные создания — люди:  
Всё то, что хранят, берегут,  
Назавтра и топчут и жгут,  
А после по тлеющей гряде  
Блуждают, мечтая о чуде,  
Сплетают из небыли жгут.  
Их радует, их умиляет  
Открытый в золе черепок...  
И кто-то уже прицепляет  
Музейный к нему номерок...  
А где был ваш разум, рассудок,  
Когда на ура, на фу-фу  
Вы сами же били посуду  
В своем же фамильном шкафу?

1979

\* \* \*

Когда добычу хищники терзают,  
Шакалы показаться не дерзают.  
И шепчут: «Как они мне милы!  
Какие мускулы! Какие силы!  
Какой роскошный аппетит!»  
(А знают: лезть... не всякому претит)  
«Там что-то тихо. Кажется, наелись, —  
Бормочут скромники, бежать к еде нацелясь.—  
Кажись, ушли? Не сделать ли разведки?»  
И бросились шакалы на объедки.

Так и у нас. Кто вышел из опалы,  
Ему вернули честь, ему вернули шпалы.  
Но пройден был большой нелегкий путь —  
И силы прежней не вернуть.  
Болеет. Старится. Измучился. Зачах.  
Вот тут-то и набросятся шакалы  
О двух ногах.

1980

\* \* \*

Жизнь — взрывы, сотрясения, изверженья.  
Порывисто, как молнии движенье,  
СЕГОДНЯ, превратившись во ВЧЕРА,  
На ЗАВТРАШНЕЕ зарится с утра.

И ты спешి. Нежданного не жди.  
Две бездны: позади и впереди.  
Мы странники. И наша ли беда —  
Идем из ниоткуда в никуда.

1980

## Я НЕ СОГЛАСЕН

Смерть — расточительство, жестокая расправа.  
Смерть — оскорбление, пощечина живым.  
Коль живы мы, то жить имеем право  
Не сколько выдано, а сколько захотим.  
Ребята часто спрашивают взрослых: «Почему?»  
Ответить им — по нашему уму.  
А вот «ЗАЧЕМ?» — на это нет ответа.  
Зачем в потоке солнечного света  
Жизнь зачала злосчастная планета  
И ни с того и ни с сего  
Вдруг человечье появилось существо?  
Зачем — велик он или не велик —  
Рожать его на краткий миг,  
На семьдесят, на девяносто лет?  
Ведь, право же, и смысла нет,  
Хлопот не стоит акушера  
Ничтожная такая мера!  
Нет, как хотите, я не понимаю  
И часто думаю об этом в ночь-полночь.  
А может быть, я злюсь? Не принимаю?  
Не соглашаюсь? Силюсь превозмочь?  
Грешно бы было надо мной смеяться.  
Я буду на своем настаивать и впредь:  
Я не согласен, чтоб живым рождаться  
Лишь для того, чтоб вскоре умереть.

Еще я не хочу, чтоб было плохо  
И чтобы мир сегодняшний был плох.  
Я требую, чтоб ты, моя эпоха,  
Все ж оказалась лучшей из эпох,  
Чтоб не пришлось, увидя этот свет,  
Краснея до корней волос, стыдиться,  
Что угораздило тебя родиться  
В век душегубок, ядерных ракет  
И всяких катастроф и бед.

Я не согласен, не согласен,  
Чтоб кто-то был у нас безгласен,  
Чтобы царило посейчас  
Бесправие в стране у нас.

Сомнения мои — всего лишь мысли вслух.  
Наивен мой протест и все же не напрасен.  
И вот еще вопрос — он для меня ужасен,  
Хоть, может быть, наивней даже первых двух.  
Судите попросту, вот так, по-человечьи,  
Мне стыдно это даже вспоминать:  
Мать умирала — не дали мне знать,  
В кичмане я, в тюрьме — сказать на просторечье,  
Вот так-то без меня похоронили мать.  
Случилось это всё тогда,  
Когда странною деспот правил,  
Когда людей без всяких норм и правил,  
Без оснований, без суда  
Хватали, били, убивали,  
И срок пожизненный давали,  
И отправляли в никуда.  
Не я один был опорочен,  
От этого не легче, впрочем.  
И вот терзанье вечное мое:  
Мать завершала скорбное житье,  
А я далече находился  
И с нею даже не простился,  
Под стражей был, бесправный, в лагерях,  
В сибирских каторжных краях.  
Я расскажу, как быть, по-моему, должно.  
Начальник заглянул в мое тюремное окно:  
«Я телеграмму получил. Должны вы знать,  
Что при смерти родная ваша мать.  
Я отпускаю вас. Но только дайте слово:  
Похоронивши мать, в тюрьму вернетесь снова».  
В тюрьме я незаконно очутился,  
И совесть у меня чиста, как снег.  
Но слово дать — и совершить побег?!  
Хоть кто б и уговаривать решился,  
Я не пошел на это бы вовек.  
Вам кажется, что спятил я с ума?  
А вдумайтесь. Здесь истина сама.  
И говорю я вовсе не о чуде:  
ТАКИМИ быть должны бы люди.  
А если честным словом перестали дорожить,  
То как же жить?

Нет, как хотите, разум мой в порядке.  
Я не играю в прятки сам с собой.

Со смертью тоже не играю в прятки,  
Хоть и даю ей смертный бой.  
И мой рассказ как будто прост и ясен,  
В нем нараспашку всё и на виду:  
Я не согласен, не согласен, не согласен!  
На том стою (хоть знаю: труд напрасен)  
И... с этим кредо в мир иной уйду.

1980



Р 58 Четвериков Б. Д.

Всего бывало на веку: Воспоминания/Оформ. художн.  
Теплова А. В.— Л., 1991, 146 с.

ISBN 5-7058-0047-9

В книге старейшего русского писателя Бориса Дмитриевича Четверикова рассказывается о десятилетии мытарств по тюрьмам и лагерям в годы сталинских репрессий.

84. ЗР7

**Борис Дмитриевич Четвериков**

## **ВСЕГО БЫВАЛО НА ВЕКУ**

**ВОСПОМИНАНИЯ**

*Редактор Н. Е. Прийма*  
*Художественный редактор В. И. Круговов*  
*Технический редактор Л. А. Мильяненко*  
*Корректор Л. Л. Бубнова*

Сдано в набор 10.12.90. Подписано к печати 18.04.91. Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага тип. № 1.  
Гарнитура литературная. Печать высокая. Печ. л. 10,0. Тираж 5000. Заказ № 28. Цена 3 р.

Ленинградская типография № 8 ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Государственного комитета СССР по печати. 190000, Ленинград, Прачечный переулок, 6.

ЛИО «Редактор», 190008, Ленинград, канал Грибоедова, 170.

3 руб.